



Эстер Сегаль

Ландшафты Алигьери



Эстер Сегаль
Ландшафты Алигьери

«Автор»

2012

Сегаль Э.

Ландшафты Алигьери / Э. Сегаль — «Автор», 2012

По аду и раю путешествовал не только герой Данте, но и герои многих других авторов. И там они не только изучали открывшуюся им местность, но и заполняли ее своими, порой очень странными, впечатлениями. А что происходит, когда в загробный мир попадает современный человек и вдруг обнаруживает, что все описанное его предшественниками совсем не совпадает с действительностью и что ад и рай – это вообще одно и то же?

Содержание

1	5
2	9
3	16
4	20
5	25
6	32
7	37
8	44
9	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Эстер Сегаль

Ландшафты Алигьери

1

*Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.*

*Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозный,
Чей давний ужас в памяти несусь!*

*Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нем обретешь навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаще.*

*Не помню сам, как я вошел туда,
Настолько сон меня опутал ложью,
Когда я сбился с верного следа...*

*Данте Алигьери, «Божественная
комедия» (перевод М. Лозинского)*

Лес был более чем странным.

Во-первых, он совершенно не пах лесом. И вообще ничем не пах, что сразу навело меня на мысли о подхваченном мною где-то насморке. Но так как нос (а я это сразу проверил) оказался вовсе и не заложен, то мысли тут же приобрели совсем иное направление: я начал искать в окружающей меня растительности признаки фальшивого декора.

Однако тщетно – лес был настоящий. Довольно густой и темный. Только без запаха. И без звука. И для завершения удивительной картины – без малейшего признака ветра, который, казалось, никогда и не гостил в здешних местах: ни одна ветка дерева не шелхнула за все то время, что я позволил потратить на наблюдения, и мне даже подумалось, что качнись она – сразу нарушит какой-то неписанный закон и местные представления о гармонии.

Итак, лес был странным.

Но еще больше пугало меня то, что я совершенно не помнил, как туда попал.

Я попытался сосредоточиться на этой мысли, но почему-то без толку. Все мои соображения на этот счет ускользали и рассеивались, как пар над только что снятой с огня кастрюли. Нет, из этого строительного материала решительно ничего нельзя было соорудить.

Вообще-то я никогда не жаловался на проблемы с памятью. Наоборот, память у меня всегда была что надо. И даже более того: я могу с уверенностью назвать ее превосходной, что, впрочем, чревато как плюсами, так и минусами.

Из плюсов отмечу хотя бы свою суперуспеваемость в университете: ведь стоило мне один раз как следует ознакомиться с материалом в учебнике, как дальше мне уже было достаточно закрыть глаза и воссоздать в воображении нужные мне страницы с практически фотографической четкостью.

К минусам могу причислить явную замусоренность этой самой памяти. Ведь чуть только любой из возможных раздражителей: звук, картинка или запах – пробудят в ней ощущение

подобия какому-то из уже хранящихся в ее тайниках сокровищ, как она щедро выплескивается в сферу моего сознания, и я долго потом не могу от нее отвязаться.

И вспоминается мне зачастую всякая чушь. Например, расшатанный скрипучий стульчик, на котором раскачивался мой сосед по детсадовской столовой, жадно поглощая манную кашу с растекшейся ярко-желтой масляной стружкой.

А от стульчика я тут же подневольно (раб собственной памяти) перехожу к ложке этого упитанного мальчишки. А ложка двигается быстро и ритмично: от тарелки – ко рту, ото рта – к тарелке. И я, пугающий своей худобой интеллигентский отпрыск, вялующее существо, вечное наказание нетерпеливых воспитательниц, мечтающих перегнать нас из столовой в игровую – решаю подражать обжоре. И тоже двигаю ложкой в нужном темпе. Но каша почему-то не проглатывается, а скапливается за щеками. И выплевывается. И капает на подбородок и на стол. И меня ругают и ставят в угол. И я...

Ну, вот видите? Так всегда. И поток воспоминаний бывает просто не остановить. А вот сейчас я вновь и вновь спрашиваю себя, как я оказался в этом странном лесу? И ничего. Пустота.

Может, стоило бы присмотреться к собственным следам и, пройдя по ним обратно, попытаться восстановить путь сюда?

Поверьте, я постарался это сделать, но не обнаружил на земле никаких следов: ни своих, ни чужих. А попытка впечатать след в землю, вот так вдавить подошву моего недешевого ботинка в податливую почву, к моему удивлению и даже практически ужасу, совершенно не удалась: то, что под ногами, словно отпрянуло от моей стопы, а потом с облегчением вернулось в исходное положение, как будто понятия массы и силы вовсе ни к чему его и не обязывали.

Мне стало не по себе. Я даже поежился, как от холода. Но холодно не было, а погоду можно было бы даже назвать отличной. И она как минимум располагала к прогулке.

Лес был густой, но, по имеющимся у меня представлениям, все леса имеют обыкновение заканчиваться, а посему я решил двигаться в поисках просвета. И хотя движение было наугад, что-то мне подсказывало, что я выбрал правильное направление.

Я шел и продолжал удивляться, потому что земля все также податливо принимала мои шаги, чтобы затем моментально и тщательно смыть впечатления о моем недавнем присутствии. И более того: после меня не только не оставалось следов, но к тому же еще я своей тяжестью и резкостью движений (то и дело приходилось довольно грубо раздвигать ветки, грозящие лицу) не нарушал первоначального лесного порядка. Или беспорядка, если вам угодно.

Иными словами, трава не мялась под моими ногами, сучки не трещали и даже и не думали ломаться. Птицы, наблюдающие за мной с высоких веток, не упархивали и не позволяли ни удивленного, ни тревожного, да и вообще никакого свиста. И казалось, протяни я руку к любой из этих пичуг, она ни за что не будет спасаться бегством.

И просвета между деревьями пока что не наблюдалось. И куда я иду, у меня не было ни малейшего понятия. И, в отличие от бесстрашных птиц, я чувствовал, что вовсе не так уж и бесстрашен. А потом появился он...

Это был совсем крошечный лисенок: нежный, желтый, пушистый и доверчивый.

Увидев его, я остановился как вкопанный. А он, как будто специально меня здесь ждал, замотал хвостом. Тоже, впрочем, совершенно беззвучно.

– Привет, малыш! – сказал я ему, хотя обычно и не имею привычки заговаривать с животными.

Лисенок смотрел на меня пристально, и мне на какое-то мгновение показалось (я, правда, сразу же отогнал эту жуткую мысль), что он меня изучает и пытается определить мою суть. Причем, не так, как обычная лиса, движимая инстинктом и прозревающая в человеке охотника, а как-то осмысленно, по-человечески, глядя в самую глубь моего внутреннего «я».

– Жаль, мне нечем тебя угостить! – снова обратился я к лисенку, невольно ловя себя на том, что, кажется, подхалимничаю.

Лисенок проигнорировал мое замечание. Наверное, не понял. Или понял (Б-же, что я несусь), но оказался не голодным.

Я приблизился к нему на шаг.

Он и не думал давать деру.

– А ты очень милый! – продолжил я заговаривать ему зубы. – А вот если бы ты помог мне найти дорогу, тогда тебе бы и вообще цены не было.

Лисенок скосил трогательный глаз и позволил мне подойти еще на два шага.

– Ну как, договорились? – спросил я.

И тут же, хотите верьте, хотите нет, но он повернулся и на пока еще неуклюжих лапках двинулся сквозь чащу. Похоже, согласился показать мне путь.

Не то чтобы, правда, я уж окончательно в это поверил. Все ж таки здравый смысл, всегда мне присущий и пока еще не поблекший даже в этом непонятном лесу, требовал признать, что путеводных лисиц не бывает. Но, с другой стороны, мне же было совершенно все равно, куда идти, так почему бы не за ним?

И мы отправились.

Длилось наше шествие довольно долго. И по пути я рассматривал желтую трепетную спинку моего крошечного проводника и думал о лисятах. Разве они гуляют по лесу в одиночку? Разве не копошатся дружными стайками вблизи родителей? Разве отходят далеко от своего логова? Разве доверяются незнакомым людям? Разве способны на длительные путешествия? Разве...

Я уже перебрал все возможные вопросы, когда откуда-то возникло первое подобие звука.

Я тут же замер и прислушался.

Лисенок последовал моему примеру. Так что уже не очень было понятно, кто кого ведет. А потом мы оба синхронно дернулись и направились в сторону чего-то пока еще смутного, но вполне могущего при ближайшем рассмотрении (вернее, прислушивании) оказаться журчанием.

По мере нашего продвижения звук возрастал, и вскоре у меня уже не было сомнения, что где-то совсем рядом находится родник. Тут же очень захотелось пить, и я как обычно (это действительно для меня обычно, так как часто, увлекаясь работой, я забываю и о еде, и о питье), задался вопросом, когда же в последний раз и чем мне удалось утолить жажду.

Но хотя всегда моя услужливая память тут же в ответ на подобное обращение хозяина воссоздает знакомый образ емкости и напитка, на этот раз все опять оказалось более чем странным: я не помнил, что именно и когда именно я пил. И тут же мне стало ясно, что из памяти начисто стерлось не только то, как я сюда попал, но и все то, что предшествовало этому.

Я поднапрягся, но опять безрезультатно: мне не удалось воссоздать ни сегодняшнего утра, ни вчерашнего вечера. Да и, пожалуй, чуть ли ни всей предыдущей недели. Как будто я только час назад запер свой офис и тут же перенесся сюда.

Вы спросите, как я понял, что из моей памяти выпала целая неделя? Очень просто.

Вот я явственно воссоздаю себе картину запирания моего офиса, и в эту картину вписывается последнее, что видно на противоположной двери стене. И это – ну, то, что видно – медленно исчезает из поля зрения, отрезаемое дверной гильотиной. Но, исчезая, все же успевает указать мне мое точное расположение во времени, ибо это – не что иное, как настенный календарь.

А тут, в лесу, глядя на циферблат моих наручных швейцарских часов, я явно вижу, что к той дате можно спокойно прибавить еще семь пролетевших дней. И я надеюсь, что моя секретарша не преминула оторвать уже ненужные календарные листки. Вернусь – проверю.

Впрочем, мысли о возвращении показались мне вдруг какими-то нелепыми на фоне всего происходящего. И я, прогнав этих нежеланных гостей, вновь сосредоточился: сначала на лисенке, а потом и на роднике, который возник прямо за деревьями.

Он был чист и непоседлив. И очень жив на фоне остального леса. По крайней мере потому, что звучал – единственный солист в доме глухонемых.

Я подошел к нему и напился.

И тут же вздрогнул. Потому что в воде мне померещилось что-то странное. Что-то, по своей форме напоминающее полужакрый человеческий глаз с довольно густыми и длинными ресницами.

Это явно не могло быть частью моего отражения.

Но и ничего чужого отражения тоже, ибо вокруг (я специально оглянулся во все стороны и перепроверил) никого не было.

Лисенок тоже лакал воду маленьким язычком.

Что делать дальше, было совершенно непонятно.

2

*Пока к долине я свергался темной,
Какой-то муж явился предо мной,
От долгого безмолвья словно томный.*

*Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, – воззвал я голосом унылым, —
Будь призраком ты, будь человек живой!»*

Он отвечал: «Не человек; я был им...»

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

Я напился и продолжил озираться, обозревая местность вокруг родника.

Повсюду по-прежнему царило безмолвие, если не считать журчания воды, еще ранее обнаружившей странную непокорность, явно диссонирующую с законами леса. Я набрал горсть маленьких камешков и для интереса начал бросать их на землю. Они шлепались в ее податливую мякоть, ни малейшим образом не нарушая тишины. Я развернулся и бросил один в источник. Вода поглотила пронзившего ее пришельца с характерным чавканьем.

Все это меня очень заинтересовало, но мои размышления на этот счет не привели ни к каким выводам, кроме одного, уже порожденного мною ранее: я ничего не понимаю, и это уже серьезно начинает меня раздражать.

А так как мириться с собственной беспомощностью не в моих принципах, я решительно освободил свою ладонь от оставшихся камешков и обратился к своему мохнатому товарищу:

– Ну, вот что, родник пробивает себе путь в земле. Будем следовать этому пути.

Лисенок не ответил, но довольно бодро изобразил полную готовность мне следовать. И мы двинулись. Все той же малочисленной и странной процессией: впереди крошечный звереныш, позади долговязый и худощавый мужчина средних лет в деловом костюме (это я).

Кстати, что касается костюма, я могу с уверенностью сказать, что именно в нем я неделю назад выходил из своего офиса. Правда, в руке у меня тогда был портфель. А вот где этот портфель может быть сейчас, ума не приложу.

И очень жаль, ибо в нем хранится (буду пока относиться к потерянному портфелю в настоящем времени) добрая половина всех моих папок. То есть основная часть моего бизнеса. То есть в переводе на деньги...

Мысль о деньгах показалась сейчас совсем нелепой, ибо невозможно было представить, что за ближайшими деревьями развернулась гостеприимная шашлычная или еще нечто, где бы мне захотелось и удалось за что-нибудь расплатиться.

Лисенок, между тем, уверенно вышагивал вдоль русла нашего ручейка, который каким-то непостижимым образом все больше креп, расширялся и намекал на собственную неиссякаемость.

– Еще пара километров, и он, пожалуй, станет рекой, – сказал я не то самому себе, не то своему спутнику, который по-прежнему никак не реагировал на мои дружественные реплики.

Но пару километров мы так и не прошли, потому что минуты через две комок желтого пуха внезапно остановился как вкопанный.

– Ты чего это? – удивился я. – Пошли дальше.

Но он впал в ступор и впервые меня не послушался, как будто его инстинкт или какое-то особо лисье знание подсказали ему, что достигнута определенная черта, переступить которую категорически воспрещается.

– Ну, если ты пас, то извини: нам придется расстаться. Потому что меня совсем не радует перспектива остаться тут навсегда, и я отправляюсь дальше, – сказал я не без сожаления.

Лисенок, видимо, понял, но не поддался на мою провокацию, а проявил характер и затрусил восвояси.

– Ну что ж, – решил я – тебе назад, мне вперед.

Так я потерял своего единственного на данный момент друга. Причем безо всякой гарантии обрести замену. А она бы мне отнюдь не помешала.

Впрочем, надежда вновь оживила меня, когда я заметил, что по мере усиления течения явно редуют деревья.

– Этот лес заканчивается! – подбодрил я сам себя и ускорил шаг. И тут же впервые осознал, что мой голос является вторым (кроме шума ручья) звуком, который здесь слышен. И это было очень странно, ведь я тем самым как бы распадался на две ипостаси: основная часть моего тела подчинилась закону местной немоты, но голосовые связки остались при своем коронном мастерстве.

– Эге-гей! – крикнул я для проверки.

Эха не возникло, но звук был громкий, а мой голос – узнаваемый.

И больше ничего. Тишина.

Абсолютная тишина, размешанная в воздухе и посему проникающая повсюду и парализующая все, кроме моей гортани и водного потока.

Я закрыл глаза и сосредоточенно впитал в себя отсутствие звуков. А зря. Потому что на какое-то время я тем самым лишился возможности наблюдать. А услышать я никого не мог. Поэтому я не мог знать, что кто-то ко мне крадется, а когда я разлепил свои веки, он стоял уже прямо передо мной.

Я вздрогнул и невольно попятился.

Он сделал приветственный знак рукой.

Я взгляделся в него пристальнее.

Он сделал то же самое.

Мне показалось, что он кто-то из знакомых, но давно забытых.

Он даже не пытался сличить мои черты с чьими-то из банка данных его памяти: было очевидно, что он и так прекрасно знает, кто я такой.

И вот это, кстати, было мне на руку. И я тут же мысленно понадеялся, что незнакомец наконец-то разъяснит мне, что со мной происходит.

– Здравствуйтесь! – несмотря на абсурдность ситуации я посчитал разумным соблюдать приличия.

– Здравствуйтесь! – откликнулся он.

– Я тут заблудился, – подыскал я нужную формулу для продолжения беседы, деликатно намекая, что неплохо бы было, чтобы и он объяснил, кто он такой и как оказался рядом.

– Я тут живу, – отзеркалил он мою формулу с одной фактической поправкой.

– Вы тут один живете? – поинтересовался я, готовясь к тому, что сейчас вслед за первым сюда повалят и остальные аборигены.

– Нас тут много, – подтвердил мою догадку он и тут же рассеял мои опасения, – но они там, за рекой, и через нее почти никогда не переходят.

Я догадался, что рекой именуется ручей и что он служит водоразделом между здесь и там.

– А Вы зачем перешли? – тут же продолжил я допрос незнакомца и, глядя на его ноги, обутые в совершенно сухие мокасины, добавил: – И как перешли?

Он проследил за моим взглядом и подробно и поступательно разъяснил:

– Я перешел, чтобы тебя встретить. Перешел вброд. Обувь снял и держал в руках. Штаны закатал.

Я молча кивнул и задумался, что бы такое спросить дальше.

Он выжидал молча.

– Где мы? – наконец решился я, приступая от преамбулы к самой сути.

– О... – растерялся он. – Что, вот так прямо сразу?

– А что, это место засекреченное?

– Да нет, вполне даже доступное массам.

– А массы за рекой?

– Да, они за рекой.

– А как река называется?

– О... – незнакомец снова издал тот же конспиративный звук.

Я слегка разозлился.

– Может быть, мне не положено такими вещами интересоваться? Так Вы прямо так и скажите, чтобы я зря к Вам не приставал.

– Да нет, интересоваться можно. Просто о некоторых явлениях тут у нас принято самостоятельно догадываться.

– И кто Вы такой, мне надо догадаться самому?

– Нет, это я Вам могу сказать. Меня зовут Жан Поль, – незнакомец улыбнулся и протянул мне руку.

Рука была теплая и располагающая к доверию. Впрочем, как и ее хозяин: человек среднего возраста и ниже среднего роста с одновременно приветливым и слегка ироничным взглядом больших глаз.

Я тоже представился.

– Ну, вот и славно – сказал он. – Тогда пойдем.

– Куда?

– К нам.

– За реку?

– За реку.

– А зачем?

– Ну, раз уж Вы здесь, наверное, Вам стоит осмотреться получше и узнать побольше.

– А, кстати, почему я здесь?

– Чтобы увидеть и узнать.

– Логично, – согласился я. – Но совершенно не понятно.

– Пока, – успокоил он.

– Что «пока»?

– Пока не понятно. Но это ненадолго.

– Вы думаете?

– Я уверен.

– А почему именно я?

– Ну, Вы вовсе не первый.

– А где мой портфель?

– Остался там, вместе с остальными вещами.

– И я смогу их забрать?

– Это зависит только от Вас.

– Тогда я заберу.

– Вполне возможно.

– Но не точно?

– Я же сказал: это зависит от Вас. Если Ваше желание получить свои вещи обратно не изменится, то обязательно заберете.

– А почему оно должно измениться?

– Потому что там всякое случается.

– «Там» – это за рекой?

– За рекой.

Дальше мы некоторое время шли молча, и я пытался как следует утрамбовать в сознании все услышанное от Жан-Поля. Утрамбовывалось плохо.

– А почему я ничего не помню? – начал я новую серию расспросов.

– Так всегда бывает, – ответил он, опять более чем уклончиво.

– А почему?

– Так уж оно устроено.

– Кем?

– А вот это из тех вопросов, об ответах на которые догадываются сами.

– А если я не догадаюсь?

– Тогда вернетесь за портфелем и уйдете.

– В таком случае, стоит ли вообще догадываться?

– А разве Вам не интересно попытаться?

Я сразу не нашелся, что ответить.

С одной стороны, мне, пожалуй, действительно, было интересно. Но, с другой стороны, в мире и помимо этого оставалось множество интересных вещей, которыми мне, вероятно, тоже стоило бы заняться, но время и солидность моего растущего бизнеса не позволяли. Так с чего я должен был сейчас рисковать своим положением неизвестно ради чего?

– А мы уже почти пришли. Вот здесь надо пересекать реку.

Я прервал свои размышления и проследил за протянутым в направлении предполагаемого брода пальцем Жан-Поля. Указанное место совершенно ничем не выделялось.

– Как Вы определяете точно место? – удивился я. – Тут же нет ничего особо приметного.

– Я ничего не определяю. Я просто вижу, что это здесь.

Я пожал плечами. Жан-Поль между тем начал закатывать штанины своих брюк для обратного пути.

Я помедлил чуть-чуть и последовал его примеру. И тут он едва заметно улыбнулся.

– А, собственно говоря, Жан-Поль, откуда Вы знали, что я здесь? И почему именно Вы пошли меня встречать?

– Знал и пошел по одной простой причине: потому что работа у меня такая. Я – проводник.

– Через реку?

– Через реку. И через все остальные места, которые за ней, тоже.

– А кто назначил Вас проводником?

– О... так сложились обстоятельства. Это, впрочем, было predetermined уже давно. Как только я отважился написать одну пьесу.

– Вы драматург?

– Да, и писатель, и философ. По крайней мере, так пишут в энциклопедиях. Там, у вас. Но здесь это мало кого интересует. Впрочем, как и меня самого.

– А как называлась Ваша пьеса?

– «За запертой дверью».

– Простите, не знаю, не читал.

– Я совсем не удивлен. Хотя когда-то она была очень популярна. Как и остальные мои произведения.

– Вас забыли, Жан-Поль?

- Нет, меня помнят.
- А о чем пьеса?
- Об аде.
- О чем?
- Об аде. О месте расплаты для грешных душ.
- Вы хотите сказать, что из-за того, что Вы описали ад, Вас сделали местным проводником?
- Да, именно так.
- Но тогда... – тут я сам испугался собственной мысли. – Логика может быть только одна: Вас сделали проводником того места, на которое Вы посягнули в своем творчестве. И это значит, что мы сейчас... в аду?
- Вот видите, Вы уже начали догадываться.
- Но, позвольте, этого же просто никак не может быть. Ведь я-то жив. Или... Скажите, я жив?
- Да, Вы еще живы. Ну, по крайней мере, в том смысле, который Вы пока подразумеваете.
- А есть еще какой-то?
- Более чем.
- А Вы?
- В том смысле, который Вы подразумеваете, – нет.
- Тогда как же мы общаемся? И зачем?
- Всему есть объяснение. И Вы его получите.
- Когда мы перейдем через реку?
- Не ранее.
- А эта река... Это что... она?
- Вы имеете в виду реку из царства мертвых?
- Ну да, эту самую, как ее?... Лету – реку забвения. О, Б-же, я ведь из нее уже пил!
- Ах, оставьте, пожалуйста, Ваши примитивные представления. Ну, пили. И что? Право, ничего страшного. Немного воды (кстати, заметьте, чистойшей!) еще никому не навредило.
- Но это та самая река?
- Когда Вы говорите о «той самой», имейте, пожалуйста, в виду, что народные представления о ней весьма смутны и не соответствуют действительности. Вы начитались когда-то древнегреческих мифов, да попользовались пару раз идиомой «кануть в Лету», и думаете, что уже все знаете. А это, поверьте мне, далеко не так.
- То есть, конечно, древние греки действительно верили в реку забвения, из которой души умерших обязаны испить для того, чтобы забыть о своих грехах и чтобы тем самым ничто не омрачало их вечное пребывания в преисподней. Но, видите ли, это все очень поверхностно. Да, и сами посудите, где же логика? Ведь если в аду необходимо страдать за былые ошибки, какой же смысл их забывать?
- Да, пожалуй, – согласился я.
- Вот-вот! Поэтому и сами греки, запутавшись в собственных представлениях об Аиде (об аде, то бишь), ввели в систему его координат еще одну реку. Но то уже была Мнемозина, то есть река памяти. А Данте называет ее Эвной. И из нее надо было пить для того, чтобы не забыть, а вспомнить. Соответственно, не о грехах, а добрых делах и важных достижениях.
- А из этих рек можно было пить по собственному выбору?
- Некоторые думали, что так. А некоторые полагали, что пить приходится из обеих.
- Но тогда ад автоматически превращается в рай. Ибо чего проще: выпил из Леты – забыл о плохом. Хлебнул из Эвной – вспомнил о хорошем. И живи себе с полным ощущением своей абсолютной праведности.

– Вы совершенно правы! – обрадовался проводник, и я не без гордости отметил, что он доволен смышленостью своего очередного клиента (меня). – Поэтому мне гораздо больше нравится не греческая, а еврейская легенда о реке забвения.

– Как, и у евреев была Лета? – удивился я.

– Да, была. И есть. И они об этой реке писали еще задолго до греков. Только называется она в этих текстах по-другому.

– Как же?

– Динор.

– И чем Вам больше нравится Динор?

– Тем, что из него пьют вовсе не сразу по прибытии в ад, а только по завершении определенного периода искупления. То есть сначала нужно отстрадать, и только потом выпить и забыть о том, что тем самым оплачено.

– Логично, – согласился я.

– И вот что интересно, – продолжил Жан Поль. – Пройдя через Динор, душа, по мнению еврейских философов, устаивается большего и более возвышенного понимания истины. И, стало быть, эта река в каком-то смысле объединяет в себе обе греческие реки: и Лету, и Эвную. Ибо с помощью одного и того же Динора ты и забываешь, и обретаешь новое знание.

– Ехал грека через реку... – вспомнил я некстати.

– Вы думаете, это имеет какое-то отношение? Впрочем, почему бы и нет? Язык – штука гораздо более объемная, чем кажется на первый взгляд. Подойди к нему с позиций языковой археологии и чего только не раскопаешь! Напластования эпох и культур, смешение святости и лицедейства. И это здорово!

– Похоже, Вам все-таки не так уж безразлично то, что Вы были писателем, – сыронизировал я.

– Пережитки! – отрезал он.

– А где Харон? – поспешил я переменить тему. – Разве не он проводник?

– Проводники все время меняются., – объяснил Жан Поль. – Если верить Данте, то его водил Вергилий. Сам Данте тоже не избежал этой участи. Потом эту должность наследовали другие. До недавнего времени проводником тут был Гессе. А теперь вот я.

– И все писатели?

– Увы.

– Ну, я-то не писатель, так что мне это не грозит.

– Если только Вы еще не станете писателем.

– А это возможно?

– Не более и не менее, чем возвращение Вашего портфеля.

– Но это, насколько я помню, зависит только от меня самого.

– Именно так.

– В таком случае, я не собираюсь становиться писателем. И тем более писать произведения об аде.

– Ну, что ж, давайте пока что так и порешим.

– Вот что-то не нравится мне Ваше «пока что».

– Но более точно вряд ли можно определить.

Тут Жан-Поль окончательно справился со штанинами и начал стаскивать мокасины.

Я тоже потянул за шнурки своих ботинок. А потом мы пошли к берегу и начали заходить в реку. Она оказалась вполне приятной температуры.

– Видит грека в реке рак... – вспомнилась мне еще одна дурацкая строчка.

Жан Поль промолчал.

– И все-таки не понятно, – опять встрял я. – Почему я в аду?

Жан Поль безмолвствовал. Потерял охоту к беседе? Или, может, того требовал ритуал перехода через реку?

- Да, кстати, – поинтересовался я, как бы мимоходом. – А как Ваша фамилия?
- Сартр.
- Как?! Да разве же Вы не были атеистом?
- Был.

3

*Иди за мной, и в вечные селенья
Из этих мест тебя я приведу,*

*И ты услышишь вопли исступленья
И древних духов, бедствующих там,
О новой смерти тщетные моленья;*

*Потом увидишь тех, кто чужд скорбям
Среди огня, в надежде приобщиться
Когда-нибудь к блаженным племенам...*

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

Некоторое время мы с Сартром шли по воде молча и сосредоточенно. Я осторожно нащупывал пальцами ног структуру речного дна, а Сартр, похоже, был просто погружен в самого себя.

Но потом, когда я вполне освоился с бродом и перестал напрягаться, он вдруг, словно почувствовав мою готовность продолжать разговор, прервал молчание и огорошил меня вопросом:

– А знаете ли Вы, какими изошренными бывают пытки ада?

Я не знал и, честно говоря, после такой формулировки не больно-то и хотел узнавать. Но, видимо, вопрос был чисто риторический и мое мнение на самом деле никого не интересовало, ибо Сартр, не дожидаясь моей реакции, тут же продолжил:

– Вот, например, нас – писателей – заставляют прочитывать всю ту чушь, которую вдохновенно пишут о нас (естественно, посмертно) наши биографы. И пружутчайшее же это, доложу я Вам, занятие. Так что невольно жалеешь о некогда столь желанной знаменитости и мечтаешь, чтобы и имя твое, и многострадальные твои сочинения поскорее, простите за каламбур, канули в Лету.

Вот Вы об атеизме моем заговорили. И, действительно, откройте любую статейку обо мне и сразу упретесь в этот незыблемый пункт. Но что они все понимают во мне и моих взглядах? И даже если они вырывают из контекста то или иное мое высказывание (а кто сказал, кстати, что я от них еще при жизни не отрекался и, тем более, после смерти), судят они как-то поспешно и поверхностно. А ведь загляни любой из них в мои сочинения, обязательно найдет там множество интонаций, намеков, зацепок, из которых сплетается общая картина, весьма многогранная и исполненная полутонов. Но нет! Им все ясно и так.

Я не пытался даже прервать эту тираду, не будучи знаком ни с творчеством Жан Поля, ни с анализом этого творчества поздними специалистами. А он уверенно переставлял ноги, уже выше колен скрытые под водой, и продолжал обличать своих мучителей:

– Знаете, я однажды рассказ написал. Называется «Стена». Это про испанских заключенных, которых приговорили к расстрелу и сообщили им об этом заранее, за одну ночь до приведения приговора в исполнение. И вот в эту ночь они не могут сомкнуть глаз. Они думают, функционируют физически, насколько это возможно в условиях жалкого тесного и сырого подвала, где их заточили, но, по сути, они уже умирают заранее, не дожидаясь смертельных пуль. Они умирают здесь, потому что ярко осознают свою смертность и ее неизбежность.

Там есть персонаж один страшный – доктор, который приходит в подвал побыть с ними этой ночью. Он приходит не из человеколюбия или медицинского долга, он приходит как иссле-

дователь: наблюдать и записывать в блокнотик их необычные предсмертные симптомы. Как они потеют, несмотря на страшный холод, как они бесконтрольно мочатся в штаны, как они сереют, как трескаются их губы – ну, и так далее.

И вот один из этих смертников вдруг заявляет второму: *«Я говорю себе: «Потом? Потом ничего не будет».* Но я не понимаю, что это значит. Порой мне кажется, что я почти понял... но тут все снова ускользает, и я начинаю думать о боли, о пулях, о залпе. Я материалист, могу тебе в этом поклясться, и, поверь, я в своем уме и все же что-то у меня не сходится. Я вижу свой труп: это не так уж трудно, но вижу его все-таки Я, и глаза, взвизгивающие на этот труп, МОИ глаза. Я пытаюсь убедить себя в том, что больше ничего не увижу и не услышу, а жизнь будет продолжаться – для других. Но мы не созданы для подобных мыслей».

А вот теперь скажите мне, принадлежали ли эти строки атеисту или нет? С одной стороны, можно сказать и так. И тогда мой герой просто из трусости цепляется за потустороннюю силу своего сознания. Но можно ведь, и кажется, это вернее, понять и иначе: «мы не созданы для подобных мыслей», потому что что-то в нас дико противится этому. И это что-то – как раз то, что способно смотреть на мертвое тело со стороны.

– И это – душа! – наконец-то, вставил я свое словцо.

– Вы бы это так назвали? – оживился Сартр.

– Ну, учитывая, что мы отправляемся в царство душ, иного определения как-то в голову не приходит.

– Ах, вот оно что! – пожал плечами мой проводник и снова замолчал.

Как реагировать на эту его реплику, я не знал.

Мы еще некоторое время шли молча, а потом, когда вода в реке явно пошла на убыль и до второго берега было уже рукой подать, Жан Поль подвел итог своей речи:

– В общем, со стороны литературоведов очень некрасиво за нами подглядывать. И если бы они еще знали, что нам об этих их подглядываниях все известно, им бы стало мучительно стыдно!

Я в душе согласился с Сартром, и тут же это навело меня на тревожную мысль:

– Позвольте! Но разве Вы сами сейчас не ведете меня подглядывать за другими?

– Кто Вам это сказал? – удивился Сартр.

– Ну, как же! Мы же в аду, там грешники мучаются. И Вы мне, по-видимому, должны будете продемонстрировать страдания этих обнаженных от былых прикрытий душ.

– Еще как продемонстрирую. Но при этом Вы не будете шпионом. И не заставите их краснеть от стыда.

– Как это?

– А очень просто. Во-первых, Вы не узнаете их имен...

– Но вот у Данте, кажется, они были названы, – перебил я.

– Когда Данте ходил здесь за Вергилием, а потом и сам в качестве проводника, у них были свои правила. Мои правила устанавливаю я. И они таковы: никакого компромата. Все безымянно.

– Это было «во-первых», – деловито встрял я, заминая оплошность.

– Да, это было «во-первых». Из чего следует, что есть и «во-вторых». И «во-вторых» – это то, что они сами хотят, чтобы Вы на них посмотрели.

– Сами? Но зачем им это?

– В этом их шанс.

– Шанс на что?

– На то, чтобы поскорей покинуть это место.

– А разве же его можно покинуть?

– Можно. Но будем считать, что этого вопроса Вы мне пока что еще не задавали. Ибо если Вы будете так торопиться, то я, отвлеченный каждым следующим вопросом, не буду успевать

отвечать на предыдущие, и так мы совсем никуда не продвинемся. Поэтому советую остановиться на прошлом Вашем замечании. Мы его рассмотрим, а потом пойдем дальше. И некоторое время без всяких вопросов. Идет?

– Идет. Да и потом, Вы просто не оставляете мне выбора.

– Иногда это даже лучше.

Сартр первым достиг берега и, видимо в ожидании, когда высохнут ноги, уселся в душистую траву.

Стоп! Что я сказал? В «душистую»? Как бы ни так. Она своим внешним видом явно просилась быть душистой. Но увы, странности того берега не закончились и на этом. Так что никакого запаха не было.

И я даже (чисто для эксперимента) сорвал травинку и, помусолив ее в руках, поднес к носу – ничего.

Сартр же тем временем с явным удовольствием (что даже показалось мне странным, учитывая, что мы находились в царстве мертвых) вытянул ноги, потянулся и прочитал мне еще одну лекцию:

– Итак. Вас удивило, что мученики сами желают, чтобы Вы за ними понаблюдали. Но это именно так.

Видите ли, это большое заблуждение думать, что нас тут заставляют выполнять те или иные действия или подвергаться тому или иному воздействию. Я, кстати, ясно излагаю?

– Вполне.

– Хорошо! – одобрил Сартр и продолжил, – Это было бы просто нелепо. И у нас был бы не ад, а какая-то жалкая антиутопия в стиле Оруэлла.

Тут он скосил на меня глаз, и я вынужден был признаться, что не читал, но слышал.

Жан Поль кивнул, удовлетворившись признанием, и повел линию своего повествования дальше:

– На самом деле, каждый из нас сам выбирает путь искупления. И некоторым в данном случае близок следующий вариант: определить свой способ страдания и при этом показать себя другим будущим обитателям этой местности с целью предупредить, а значит, и предотвратить их возможные ошибки в той или иной схожей ситуации.

– То есть бывший вор с отрубленными руками показывается потенциальному вору, чтобы тому не повадно было. Тот (зритель, то бишь) соответственно предпочитает не воровать, чтобы избежать подобной увиденной участи. И эта заслуга (зрителя) делится им с мучеником (натурщиком), что сокращает последнему срок наказания.

– Блестяще! – воскликнул Сартр. – С одной маленькой поправкой. Тут у нас никому руки не отрубают. Избавляйтесь от примитивизма.

– Допустим. Но у меня тогда возникает вопрос: я лично как-то не замечал в себе тяги к преступлениям. Почему же просмотру подвергаюсь именно я?

– Ну, если бы Вы были писателем, вопрос оказался бы нелепым: Вы бы описали здесь увиденное в книге, издали бы оную большим тиражом, она бы неизбежно попала на глаза какому-нибудь преступнику, или даже нескольким, и, тем самым, Вы бы убили одним выстрелом двух зайцев. Остановили бы будущий грех и помогли бы искуплению предыдущего.

– Но я не писатель.

– И это значит, что есть другой ответ.

– Какой?

– А кто Вам сказал, что я его знаю?

Я разочарованно умолк. Но Сартр поспешил меня утешить:

– Зато я точно знаю, что к концу Вашего путешествия Вы его обретете.

– Почему моего, а не нашего?

– Потому что совсем не обязательно, что мы завершим его вместе.

- Но Вы же проводник.
- Но в некоторые места тут вдвоем не протиснуться.
- Не пугайте меня.
- И не думал.

Ноги высохли, и мы синхронно начали обуваться. При этом, раскатав штанины, я обнаружил, что мои дорогие костюмные брюки безнадежно измяты. И тут же поймал себя на мысли, что в аду это совершенно не важно. И тут же поддался рефлексии и породил следующую странную мысль: «Не может быть, чтобы это был ад! Разве же туда попадают в таких костюмах?! В таких даже не хоронят!» Мысль мне не понравилась, и я ее отогнал. Сделать это было не так уж и трудно, тем более что мой провожатый опять приступил к инструктажу:

– Ваша задача проста: смотреть. Внимательно. Приглядываться к деталям. И делать выводы.

- Можно с ними разговаривать?
- Если посчитаете это уместным.
- А если они так не посчитают?
- Постарайтесь, чтобы ваши мнения по этому поводу совпали.
- Но у меня ведь нету опыта. Мне как-то еще не приходилось общаться с мертвыми, – заранее начал оправдываться я.

– Опыта у Вас достаточно, если учесть, что последние два часа Вы только это и делаете. Сначала мне показалось, что он шутит, а потом, осознав всю подоплеку его высказывания, я похолодел от его правоты: да, я уже два часа безостановочно общался с покойником!

Впрочем, так как для своего мертвецкого стажа он явно прекрасно сохранился, меня это не так уж и напугало.

- Вы готовы? – спросил он, вставая на ноги.
- Смотреть и приглядываться к деталям? Да, – ответил я, проделывая то же самое.

И для пущей убедительности устремил свой пристальный взор в унылый ландшафт, расплывавшийся перед нами на этом берегу. И тут же вздрогнул от неожиданности: в зыбком полусумрачном мареве, дрожащем над бескрайним (по крайней мере, на первый взгляд) полем мне померещился уже недавно виденный мною образ – большой, полузакрытый, как будто от усталости, глаз с густыми ресницами.

Я вздрогнул и перевел взгляд на Сартра. Он, кажется, ничего не заметил.

- Там глаз, – попытался я ввести его в курс дела.
- Вот как? – не особо удивился он.
- Я его уже видел сегодня. В роднике.
- Угу – как-то неопределенно хмыкнул он.
- А теперь здесь, в поле.
- Нам пора идти, – решительно двинулся он, проигнорировав мое замечание. И я понял, что это, по-видимому, относится к области тех вещей, о которых надо догадываться самому.

4

*«... Я так был рад словам твоим внимать
И так стремлюсь продолжить путь начатый,
Что прежней воли полон я опять.*

*Иди, одним желаньем мы объяты:
Ты мой учитель, возждь и господин!»
Так молвил я; и двинулся возжатый,*

И я за ним среди глухих стремнин...

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

Мы шли по полю очень долго. Я уже начал выматываться и отставать. Сартр же проявлял недюжинную выносливость. «Наверное, все мертвые такие», – подумал я не без радости. То, что я явно не справлялся с нагрузкой, означало, в таком случае, что я все-таки жив, в чем я уже несколько раз за этот день успел усомниться.

– Уже скоро, – подбодрил меня проводник.

Я пропыхтел в ответ что-то невнятное.

При этом мне очень хотелось, чтобы Жан Поль оказался прав. Но мое зрение заставляло отнестись к его обещанию скептически: куда хватало глаз, простиралось все то же поле.

И все-таки Сартр меня не обманул. И хотя ландшафт и не думал меняться, но зато вскоре, прямо посреди поля, обнаружилось странное сооружение, при ближайшем рассмотрении оказавшееся круглой будкой без единого окна и с наглухо закрытой дверью, для верности запертой снаружи на большой в деревенском стиле засов.

– Что это? – в два захода выговорил я, пытаюсь отдышаться.

– Это? – проводник указал на будку, как будто рядом с ней находилось еще нечто, предполагавшее выбор. – Это зеркальная комната.

– Зеркальная комната? – переспросил я. – Это что-то вроде комнаты смеха?

И тут же мне вспомнилось самое первое мое посещение этого аттракциона. Было мне тогда лет пять от роду. И я не очень понял, что же, собственно говоря, смешного в этих корявых отражениях, которыми оскорбляют нас вычурные и глупо установленные по кругу каким-то злым дядькой (а кем же еще?) зеркала.

Мы с мамой представляли в этих кривых стекляшках то жалкими карликами, то длиннющими макаронинами, то толстячками и вытянутыми веревочными лапками, то верзилами, практически лишенными конечностей.

Все люди очень смеялись, а мне хотелось плакать. Потому что вдруг показалось, что эти зеркала могут быть и правдивыми, и что они возвращают человеку ту самую потайную суть, которую он скрывает от самого себя, а узрев в куске стекла, не смеет опознать и отрицает тождество рапирой смеха.

Ну, в смысле, это я сейчас такими словами мое тогдашнее ощущение описываю. Но уверен, что в целом именно из-за этого я в тот момент и расстроился.

И комната смеха, кстати, тоже была совершенно круглая. Правда, снаружи посетителей никто не запирает.

Жан Поль переждал, пока я переварю первые впечатления, и заметил:

– С этого все начинают.

– Вы же говорили, – тут же встрял я, – что каждый сам для себя выбирает свой путь.

– Именно так, – терпеливо согласился Сартр. – Но начало всех путей в этой комнате. А дальше уже не счесть траекторий.

– И что там происходит?

– Да ничего особенного. Каждый, кто туда попадает, просто смотрит в зеркало. Долго и внимательно смотрит в зеркало.

– Долго? – переспросил я. – А как же остальные?

– Какие остальные? – не понял проводник.

– Ну, на свете же много людей более или менее одновременно умирают. Так где же остальные, которые ждут своей очереди? Им тут, наверное, целого поля не должно хватать.

– Да всем места хватает, не беспокойтесь, – умилился Сартр. – У Вас просто еще земные представления о времени. А тут, видите ли, мгновения могут растянуться в годы, а годы сжаться до доли секунды. Так что толкучки не бывает. И очередей мне еще наблюдать не приходилось.

– Ах, вот оно что! – осознал я и тут же стал въедливо обмозговывать разъяснения Сартра, пытаюсь обнаружить, к чему бы еще можно было придраться.

Попытался и нашел:

– А почему Вы сказали, что те, ну, которые там, внутри, смотрят в зеркало? Учитывая грамматические правила, надо было бы выразиться иначе: что они «смотрятся» в зеркало.

– Это если бы они себя в зеркале рассматривали, тогда бы они «смотрелись», – обиделся Жан Поль. – А они рассматривают вовсе не себя.

– А что еще можно рассматривать в зеркале?

– Что?! Да, Б-же мой! Целую бездну всего! – воскликнул Сартр, чуть ли не заламывая руки. – Да что же это Вы такие вопросы задаете. Это же элементарно. Да, Вы что литературы вообще не читали? Ну, хотя бы сказки народные. Вот эту, например, про девицу, которая приговаривала: «Катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку, покажи мне и города и поля, покажи мне леса, и моря, покажи мне гор высоту и небес красоту». Ну, а дальше там, помните: «Вдруг раздался звон серебряный. Вся горница светом залилась: покатилося яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города видны, все луга видны, и полки на полях, и корабли на морях, и гор высота, и небес красота: ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди на заводях песни поют».

Я с удивлением рассматривал Сартра, который оказался на редкость подкованным в русском фольклоре.

Он же с упоением продолжал:

– Или возьмите хоть пушкинское: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. . .» Или, вот еще лучше. Андерсен. Вы помните, с чего начинается «Снежная королева»?

Я не помнил. Но мои воспоминания и не требовались Жан Полю, который тут же начал шпарить наизусть: «История первая, в которой рассказывается о зеркале и его осколках.

Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем сейчас. Так вот, жил-был тролль, злой-презлой, суций дьявол. Раз был он в особенно хорошем расположении духа: смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось дальше некуда, а все дурное и безобразное так и вытирало, делалось еще гаже. Прекраснейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей – уродами, или казалось, будто стоят они кверху ногами, а животов у них вовсе нет! Лица искажались так, что и не узнать, а если у кого была веснушка, то уж будьте покойны – она расплзалась и на нос и на губы. А если у человека являлась добрая мысль, она отражалась в зеркале такой ужимкой, что тролль так и покатывался со смеху, радуясь своей хитрой выдумке.

Ученики тролля – а у него была своя школа – рассказывали всем, что сотворилось чудо: теперь только, говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их истинном свете. Они бежали

повсюду с зеркалом, и скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека., которые не отразились бы в нем в искаженном виде.

Напоследок захотелось им добраться и до неба. Чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось зеркало, так что они еле удерживали его в руках. Но вот они взлетели совсем высоко, как вдруг зеркало до того перекорежило от гримас, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось на миллионы, биллионы осколков, и оттого произошло еще большие бед. Некоторые осколки, с песчинку величиной, разлетаясь по белу свету, попадали людям в глаза, да так там и оставались. А человек с таким осколком в глазу начинал видеть все навыворот или замечать в каждой вещи только дурное – ведь каждый осколок сохранял свойство всего зеркала. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было страшнее всего: сердце делалось как кусок льда. Были среди осколков и большие – их вставили в оконные рамы, и уж в эти-то окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки, и худо было, если такие очки надевали для того, чтобы лучше видеть и правильно судить о вещах.

Злой тролль надрывался от смеха – так веселила его эта затея. А по свету летало еще много осколков».

Слушая Сартра, я опять вспомнил свои детские ощущения в комнате смеха и подумал, что Андерсен, должно быть, чувствовал то же самое. Если, конечно, комнаты смеха в его столетии уже изобрели.

Но тут как раз цитата закончилась и я, прервав размышления, собрался задать очередной вопрос.

Тщетно. С проводником мне явно повезло – он желал разжевать мне все до рыхлого мякиша, а потому переключился на следующего автора:

– Или вот возьмем Булгакова. Помните в «Мастере и Маргарите» хрустальный глобус Воланда?

Это я, да, смутно припоминал.

– Вот-вот! – радостно закивал Жан Поль, обнаружив в моих глазах искру понимания, и снова залился соловьем, на этот раз еще больше интонируя и изображая беседу хозяина глобуса с Маргаритой в лицах:

«Рядом с Воландом на постели, на тяжелом постаменте, стоял странный, как будто живой и освещенный с одного бока солнцем глобус...

Он... стал поворачивать перед собою свой глобус, сделанный столь искусно, что синие океаны на нем шевелились, а шапка на полюсе лежала, как настоящая, ледяная и снежная...

– Кровь – великое дело, – неизвестно к чему весело сказал Воланд и прибавил: – Я вижу, что вас интересует мой глобус.

– О да, я никогда не видела такой вещицы.

– Хорошая вещица. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девишки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна, как будто нарочно таких подбирают. Мой глобус гораздо удобнее, тем более что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали.

Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и точку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела вверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита

разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка.

– Вот и все, – улыбаясь, сказал Воланд, – он не успел нагрешить...»

– Все понятно! – я решительно прервал монологи Сартра, опасаясь, что он сейчас обратится еще к какому-нибудь литературному произведению. О его начитанности (если учесть, что она возрастала и после смерти) я уже был достаточно высокого мнения. – Так какого же рода зеркало находится внутри этой будки?

– О... – посерьезнел мой проводник. – У этого зеркала весьма любопытные свойства. В нем последовательно отражается вся жизнь испытуемого. Но не так как он ее лично мог бы припомнить: эпизод за эпизодом, а, так скажем, со всеми последствиями его поступков.

Ну, например, представим, опаздываете Вы на автобус и мчитесь к нему, пока двери не захлопнулись. И по сторонам не смотрите. А на улице, между прочим, гололед. А вокруг, также, между прочим, другие люди.

И среди них, допустим, юная пианистка, которая готовится к международному конкурсу, который через два дня. И она-то как раз не спешит, а медленно и чинно, дыша по дороге в консерваторию оздоровительным воздухом, продвигается на репетицию.

Но Вы не замечаете это нежное создание и задеваете ее мощным атлетическим плечом...

Тут я бросил взгляд на свои плечи и, будучи ревнителем правды, посчитал своим долгом возразить Сартру:

– У меня довольно узкие плечи.

– Это сейчас неважно! – категорически отрубил мое возражение проводник. – Это лишь фантазия. И в моей фантазии у Вас атлетические плечи. Одним из которых, между прочим, Вы задеваете девушку, и она, деликатно ойкнув, падает на лед. И естественно, как и все прочие люди в случае внезапного падения, инстинктивно подставляет под себя руку.

А руки у нее нежные, как и полагается пианистке. И пальцы тонкие. И один из них ломается со страшным хрустом (тут Сартр постарался изобразить губами хруст, и это у него неплохо получилось). И вот – перелом.

В другой ситуации оно бы и ничего. Главное, голова, ну, там еще и позвоночник – целы. Но она-то к международному конкурсу готовилась. И это была мечта всей ее жизни.

Ан нет, сорвалось. От мечты пришлось отказаться. Да еще и перелом оказался со смещением. И палец (тут Сартр выставил напоказ свой явно не пианистский перст) – криво сросся. И с музыкальной карьерой (все предыдущие годы – насмарку) девушке приходится распрощаться. И, она, злым роком и Вами-торопыгой ввергнутая в депрессию, однажды не выдерживает и кончает жизнь самоубийством, прыгнув на рельсы в метрополитене. Ну, или голову в омут. Как Вам больше нравится.

– Мне большое нравится, чтобы она отравилась фосфором, – не пряча иронии, подыграл я.

– Пусть будет! – милостиво согласился Жан-Поль и тут же продолжил: – И и вот в этой, как Вы изволили выразиться, «будке», или, как она на самом деле называется, «зеркальной комнате», Вам и показывают в зеркале все (обратите внимание: абсолютно все) последствия всех последствий всех продолжений всех Ваших начинаний!

И, несмотря на то, что Сартр тут явно загнул с предложением, я его понял. И тут же воскликнул:

– Но чтобы все это просмотреть, на это же никакой жизни не хватит.

– Это земной жизни никакой не хватит. Но я-то Вам уже объяснил, что здесь время течет по-иному. Так что всем всего хватает. И никто при этом не торопится. И не бежит сломя голову. И не ломает соседям по тротуару пальцы.

Последнюю реплику проводник бросил с явной укоризной, как будто палец я, действительно, кому-то сломал.

– А почему дверь заперта снаружи? – наконец задал я вопрос, как мне показалось, по существу. – Это разве не противоречит вашим правилам добровольного наказания.

– А вот слова «наказания» я не употреблял, если Вы заметили, – серьезнейшим образом отреагировал Сартр. – И Вам не советую.

– Так разве же в аду не наказывают?

– Вовсе нет.

– Тогда что же здесь делают?

– Вот обживетесь немного, поймете, – пообещал Сартр. – А пока верну Вас к предыдущему вопросу: зачем дверь заперта снаружи.

– И зачем же?

– Это надо не для того, чтобы насильно удерживать того, кто находится внутри. Это надо для того, чтобы, в случае если дверь случайно приоткроется от порыва ветра (тут я удивленно вскинул брови, ибо ветра, как я уже писал, по моим наблюдениям, в этих местах и не бывало), в зеркале не отразилось чего-нибудь лишнего. Чужой жизни, например.

– Да что здесь может отразиться? Тут же голое поле кругом.

– Не скажите, – покачал головой Жан Поль.

– Ну, и не скажу – я уже привык с ним постоянно соглашаться.

– А как же мы внутрь войдем? Дверь как откроем? Ведь отразится что-нибудь не то!

Сартр улыбнулся улыбкой учителя, убедившегося, что первоклашка делает успехи.

– Он сам нам откроет, – многозначительно протянул он. – Потому что его время пришло!

5

*Там вздохи, плач и исступленный крик
Во тьме беззвездной были так велики,
Что поначалу я в слезах поник.*

*Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и вскрики*

*Сливались в гул, без времени, в веках,
Кружащийся во мгле неозаренной,
Как бурным вихрем возмущенный прах.*

*И я, с главою, ужасом стесненной:
«Чей это крик? – едва спросить посмел. —
Какой толпы, страданьем побежденной?»*

*И вождь в ответ: «То горестный удел
Тех жалких души, что прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел...»*

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

Так как Сартр сказал, что время пришло, то я незамедлительно вперился взглядом в тяжелый засов и ожидал, что вот-вот дверь сдвинется со своего места, и в раскрывшемся зеве дверного проема обнажится таинственная будочная утроба.

Но ничего не происходило. Разве что в сознании у меня что-то потихоньку прояснялось, пока не прояснилось окончательно и не вылилось в вопрос:

– Позвольте, а как же он нам откроет, если дверь заперта снаружи?

– Очень просто, – ответил как всегда невозмутимый Жан Поль. – Он подаст нам знак, и мы отопрем его снаружи. Ведь мы для этого и пришли.

– Ах, вот оно что! – поддакнул я. – А если бы он захотел выйти на свободу еще до того?

– Тогда бы мы пришли раньше.

– А если бы он еще не был готов...

– Тогда позже.

– То есть Вы хотите сказать, что совпадение его желания и нашего присутствия в любом случае было бы стопроцентным?

– Именно так.

– И как это регулируется? У вас тут, что ли, беспроводный телеграф?

– Нет никакого телеграфа. Но специфика этого места такова, что все происходит в точно назначенное время. Включая взаимодействие всех местных обитателей, имеющих потребность друг в друге. Опоздать никуда невозможно. Как, впрочем, и придти заблаговременно.

Я попытался осознать услышанное. Но осознавалось плохо. Тем более, что всецело сконцентрироваться на словах проводника не удавалось: отвлекали унылое поле и мрачная будка.

– А он там не задохнулся без окон? – посочувствовал я узнику зеркальной комнаты.

– Нет, – уверенно заявил Сартр.

– И от голода не умер?

– Вопрос неуместен: напомню Вам, что смерть у него уже давно позади.

– Давно, Вы сказали?

– Да, давно.

– Сколько же времени он тут провел?

– Смотря как считать: по земным критериям – несколько минут, по местным – несколько месяцев. Но парадокс заключается в том, что этот приблизительно указанный мною срок справедлив лишь для внутреннего пространства данной будки. В других уголках нашего мира могут быть обратные эффекты: местные минуты, равные земным годам, десятилетиям и даже столетиям.

– Предельно ясно! – съязвил я.

– Ничего не поделаешь! – Сартр развел руками. – Так уж оно сложилось!

– И при этом, если некто, находящийся в зеркальной комнате, где земная минута равна местному месяцу, почувствует потребность в ком-то, кто находится в некоей избушке – на курьих ножках или в горячем джакузи в жерле вулкана, где местная минута равна земным сорока восьми годам и шестнадцати с половиной часам, их времена каким-то образом наложатся одно на другое и совпадут в этом чистом поле около запертой двери.

– Точно! И именно таким способом, кстати, я попал на тот берег, в тот самый момент, когда Вы его тоже как раз обнаружили и оказались готовы к переправе.

– И лисенок поэтому ушел?

– Поэтому.

– Но как же это возможно? И кто же за всем этим следит?

– На первый вопрос отвечу просто: возможно, ибо работает и ежемгновенно подтверждается новыми фактами.

– Ежемгновенно, простите, это по какому времени? – встрял я.

– По всем! – отрезал Сартр, ничуть не смутившись. – Что же касается второго вопроса, то тут Вы опять забежали вперед, так что разрешите на это пока никак не реагировать. Просто положитесь на меня и поверьте, что я прав.

Я постарался положиться и поверить, но тут же нашел в словах Жан Поля некое логическое несоответствие.

– Можно внести поправку? – спросил я, как прилежный школяр.

– Валяйте! – милостиво разрешил Сартр.

– Вот мы тут с Вами болтаем уже четверть часа, а внутри, между прочим, тихо. Значит, мы все же пришли раньше назначенного времени?

– Отнюдь, – покачал головой мой проводник. – Этот зазор в несколько минут просто был запрограммирован, чтобы Вы смогли получить необходимые разъяснения, пока тот, кто внутри, ни подаст нам знака.

– Запрограммирован? С точностью до минуты?

– До секунды!

– Неужели? – усомнился я, но не успел даже расцветить свое восклицание достаточным колером цинизма, как из будки раздался тихий стук. (Тут я взял на заметку, что в этом царстве безмолвия живые души (или мертвые – как лучше сказать-то?) все же способны нарушать тишину.)

– Пора, – улыбнулся Сартр и протянул руки к дверному засову.

Это была крепкая доска, которую просто требовалось приподнять и извлечь из дверных пазов. Как только это было сделано, дверь тут же начала медленно раскрываться.

Я с любопытством потянулся к открывающейся щели в надежде рассмотреть внутреннее убранство будки. Но мне это не удалось, ибо в дверном проеме тут же возникла человеческая фигура, заслонившая собою все и вся.

И не то чтобы это был какой-то великан – наоборот, параметры его тела приближались к отметке «ниже среднего», но так как комната внутри оказалась неосвещенной, то за его спиной не просматривалось совершенно ничего.

Он слегка сощурился от дневного света (отнюдь неяркого) и без всякого удивления обнаружил нас.

Я ждал, что придется провести церемонию взаимного представления, но мы как-то обошлись без этого. И все-таки молчание было недолгим.

– Увы! – сказал недавний узник зеркальной комнаты. И еще раз: Увы!

– Поделиться не желаете? – с готовностью откликнулся Жан Поль, явно не равнодушный к психоанализу.

– А толку?! – спросил незнакомец и махнул рукой.

– Душу облегчить.

С учетом того, что у обитателей ада, по всей видимости, ничего кроме души и не оставалось, это было весьма весомое предложение. Но, видимо, смятенная душа в свое облегчение не очень верила, ибо не поторопилась открыться нараспашку (в соответствии с известным выражением), а наоборот, еще больше замкнулась в себе и некоторое время молча заламывала руки.

– Мне стыдно! – наконец, произнесла она. Или все-таки он (глядя на этого мужчину, я решил называть его соответственно видимым телесным признакам).

– Стандартная реакция! – прокомментировал Сартр, очевидно, для меня.

– И что с ним теперь будет? – посочувствовал я бедолаге.

– Обычно после этого они бредут куда глаза глядят.

– И куда приходят?

– К следующей станции.

– К одной и той же?

– Как правило.

– Даже если их глаза глядят в разные стороны?

– Куда бы ни глядели.

– Так получается, что у вас тут с пространством то же самое, что и со временем: у каждого свое, но у всех в результате совпадает?

– Такое уж это место! – согласился проводник.

– А давайте, пока он не побрел куда глаза глядят, расспросим его, что именно ему там привиделось, – с определенной долей наглости предложил я.

– Пожалуйста. Кто же Вам мешает?

– Может, для этого удобнее внутрь войти? А то здесь как-то... сыро.

– Никак нельзя. Туда вход разрешен только по одному. А то видения наложатся, и такое начнется!

– А мне дадите попробовать?

– А Вы вот сначала с коллегой пообщайтесь, а потом будете решать, стоит ли проситься.

Я перевел глаза на коллегу. Он был мрачен, но пока еще не порывался брести куда глаза глядят.

– Расскажите, пожалуйста, что Вас так расстроило, – обратился я к нему как можно вежливее.

– То, что исправить ничего нельзя! – с надрывом в голосе отозвался он.

– Стандартная реакция! – повторился Сартр.

А бывший обитатель будки уселся прямо в траву, прислонившись к своему недавнему убежищу спиной, и начал первый свой рассказ.

Первая история из зеркальной комнаты

Я был самым стандартным ребенком, и в школе учился через пень-колоду. Пока однажды на уроке природоведения не случилось удивительное: я заинтересовался пленочкой от репчатого лука.

Мы тогда всем классом проводили эксперимент. На каждой парте стоял маленький микроскоп, а в руках у нас кипела работа. Надо было очистить луковичку от шелухи, затем разделить целую головку на отдельные пластинки и оторвать от каждой тончайшую кожицу. А потом эта прозрачная нежная материя погружалась в йодовый раствор и становилась фиолетовой, чтобы в микроскоп можно было разглядеть отдельные ее клеточки.

Я как сейчас помню свой восторг от той картины, которая открылась моему глазу, прилипшему к окуляру: это был целый городок из маленьких продолговатых вакуолей, разделенных мембранами. И слова эти, только что изученные на уроке: «вакуоль», «мембрана» – я еще долго перекачивал во рту.

И вечером, улегшись в кровать, в полной темноте и с закрытыми глазами я все повторял: «вакуоль, вакуоль». И мне казалось, что слюна у меня становится сладкой, словно от леденца.

С того дня я задумал посвятить себя естествознанию. Проникнуть в микромиры, скрывающиеся от невооруженного людского глаза.

И каждый предмет отныне выглядел для меня по-другому. Я смотрел на самые примитивные из них и думал: «Вот уж я тебя познаю. Ведь и ты состоишь из мельчайших элементов. И твои живые клетки однажды предстанут передо мной всем своим скопом и обнажат твою истинную суть».

А когда в 7 классе у нас появилась химия, моему восторгу не было предела...

Предел наступил позднее, когда после моего 14-летия отец поинтересовался, чем бы именно мне хотелось заняться в жизни.

Я ответил, не колеблясь, что фармацевтикой, ибо к тому времени мое увлечение химией как таковой стало приобретать более узкий и гуманистический характер. Я мечтал изобретать уникальные лекарства – панацею от самых страшных болезней со смертельным привкусом: от хронического бесплодия до рака и СПИДа. Но мой отец лишь неодобрительно покачал головой.

– Фантазировать ты горазд, – сказал он. – Но кто же вместо тебя принесет в дом свою трудовую копейку? Достаточно уже мы с матерью тебя кормили. Пора и тебе задуматься о том, как обеспечить нам достойную старость.

Я мысленно содрогнулся от лавины ответственности, которая с грохочущим эффектом покатила на меня откуда-то с потолка в районе горделиво распыленной люстры с подвесками, незадолго до этого памятного разговора приобретенной моими родителями очень выгодно в комиссионке, очень выгодно.

Я в очередной раз поизучал с минуту подвески и робко спросил:

– Так кем же ты мне предлагаешь стать?

Отец поощрительно хлопнул меня ладонью по плечу и снял с полки один из томов полного собрания сочинений Николая Васильевича Гоголя.

– Вот, почитай, – сказал он. – Тем более, что это у вас в нынешнем году в программе. И особо обрати внимание на страницу, отмеченную закладочкой.

Я взял книжку и отправился за шкаф, служивший мне перегородкой, отделяющей мой личный мир от родительского ложа.

Книжка оказалась «Мертвыми душами», и начал я прямо с заложенного места (аж с 11-й главы), где отец Павлуши Чичикова поучает его перед отправлением в городскую школу:

«При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Б-г не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.

Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностью; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив – в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, – признак подступающего голода, – он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно».

Прочитанное меня потрясло.

– Да ведь этот автор издевается над своими героями! – подумал я.

Но, как ни странно, отца этот мой довод никак не заинтересовал. В ответ на мое предложение рассмотреть ситуацию с позиции самого Гоголя он сказал следующее:

– Интересно, сколько твой Гоголь в месяц получал? И это при страшном-то таланте: этак правду жизни схватить и описать! И правда эта вот какая, одна-единственная: береги копейку, она не предаст.

Я сильно втянул воздух носом, чтоб не расплакаться. Отец же продолжал:

– Мне тут замдиректора торгового училища кое-что должен, так что за поступлением, я думаю, дела не станет.
Так и решилась моя судьба.

Конец первой истории из зеркальной комнаты

Несостоявшийся фармацевт хлопнул носом и посмотрел вверх, как будто устрашающая люстра его детства еще нависала над его головой. Но люстры не было, и ничего не было, кроме какого-то низкого и тяжелого серого неба.

Должно быть, этот факт вновь напомнил ему о неисправимости совершенного в прошлой жизни, потому что он тут же уронил лицо в ладони, и следующая его реплика буквально просочилась через пальцы:

– И все это я так ясно, так ярко увидел заново в зеркале! А потом там возникло и неожиданное продолжение.

Это была лаборатория.

Самая современная. С целой продуманной системой колб, весов, всяких агрегатов (увы, не став химиком, я так и не смогу обозначить все их названия) и компьютеров.

Там кипела какая-то микроскопическая и, очевидно, чрезвычайно весомая по значению жизнь. И меня страшно туда потянуло. Так захотелось погрузиться во все это, стать другом тем людям, которые, облаченные в спецодежду и маски, так что и лиц не различить, сосредоточенно творили какую-то лишь им доступную в осознании реальность.

А потом я присмотрелся к одному из них, и мне показалось, что именно этим человеком я как раз и мог бы быть, окажись я там, среди них. Лица его я тоже разобрать не мог, но вся его фигура, легкая сутулость, брови над маской цвета свежего салата, руки с характерными широкими костяшками пальцев – ну, буквально все могло быть моим.

И эти его руки, такие мне знакомые и почти родные, становились в зеркале все больше и больше. И я видел, как он своими неуклюжими, даже грубыми, на первый взгляд, пальцами, проделывает такую нежную и тонкую работу: отмеряет на весах какие-то вещества, берет пинцетом мельчайшие крупички реактивов – бросает в емкости, наблюдает реакции и вводит данные наблюдений в компьютер. И на его экране возникают формулы.

Я вглядывался в них, и вдруг потихоньку меня пронзало понимание.

Вот удивительно, я ведь никогда ничего этого не учил, а тут оказалось, что все знаю. И гениальность рождающихся формул, пронзительное откровение их возникновения в той лаборатории потрясли меня до слез.

Да, это должно было быть моим. Но я прошел мимо. И уже ничего не изменить.

И тогда в зеркале возникла еще одна картина – больничная палата.

Там лежали люди, и из них торчали разные ужасные трубки. Через некоторые из них что-то подавалось в тела этих больных, а через, другие, наоборот, выкачивалось.

Я боялся заглянуть в их лица. Но зеркало, как нарочно, увеличило для меня каждое лицо: несколько пожилых и несколько совсем юных. И их закушенные губы. А потом их руки, судорожно и бесконтрольно комкающие одеяла...

Я видел все. Я сам содрогался от их мучений. А потом на приборах, подвешенных над одной из кроватей, что-то запищало и та линия, которая отражает ритм сердца и которую так любят показывать в сериалах, вдруг перестала извиваться и резко распрямилась.

И вбежала медсестра. И даже не стала ничего предпринимать: звать врачей с реанимационным набором или самостоятельно делать какие-нибудь усилия, вроде укола или искусственного дыхания.

Она просто стояла и молча констатировала смерть.

И тогда я понял, что все эти люди – смертники. И что их не спасти. А если бы и можно было спасти, то не стоило бы этого делать, чтобы насильственным образом не продлевать их невыносимые мучения.

И я понял, что те формулы, которые писал в лаборатории кто-то похожий на меня, были лекарством для этой палаты безнадежных. И они все умерли, один за другим. А помимо них, еще множество людей с тем же диагнозом.

Умерли. Что ж... все умирают.

Но эти конкретные просто из-за того, что я пошел в торговое училище.

И вот тут он прервался и заплакал.

6

*Притча о человеке, который ничего не смел
Он боялся сказать то, что думал, в лицо.
И запачкать рубашку цветочной пылью.
И не в ногу шагнуть, если в общем строю.
И под письмами выставить подпись свою.
И без зонтика выйти в безоблачный день.
И прослыть несолидным у важных людей.
И сидеть в кинозале в последнем ряду.
И ходить, не сутулясь, у всех на виду.
Он боялся раздоров и в драку не лез.
Жил без крепких напитков и крепких словес.
Он немые яблоки есть не привык.
И хранил от покупок и чек, и ярлык.
Он боялся контрастов и ярких цветов.
Никогда к переменам он не был готов.
Карту взять из колоды страшился не ту.
И, в очках не нуждаясь, играл в слепоту.
Он боялся товаров по льготной цене.
И система на нем отыгралась вполне:
После смерти его без излишней возни
В уцененном гробу на покой отвезли.
А над крышкой средь комьев земли улеглась
Взвесь несделанных дел и несказанных фраз.
И над ними для верности камень притих
С эпитафией жизни: от сих и до сих.*

Как выяснилось, несостоявшийся фармацевт имел в запасе еще несколько печальных историй.

Вторая история из зеркальной комнаты

Сначала я выучился на продавца, а, успешно закончив практику, начал метить и в товароведы.

Распределили меня удачно: на кондитерскую фабрику, где, как каждому ясно, можно было неплохо пожить. Шоколад и конфеты ведь все любят, и валюта эта в системе социальных отношений отдельно взятых индивидов никогда не обесценивается.

Выносить конфеты со склада я начал почти сразу. И ничуть не боялся, потому что все у нас это делали. Даже почти неприкрыто: когда проходили через проходную, не особо беспокоились, что карманы топорщатся, а из сумок и портфелей торчат коробки с ассорти.

Шоколадные кругляшки со сладкой помадкой внутри работницы фабрики брали прямо с конвейера и клали себе в рот. Потом ими же, уже завернутыми в яркие блестящие фантики и вновь освобожденными от оных, закусывали в перерыве: кто – чай, кто – водку.

И жили припеваючи. Все: от сторожа до замдиректора. А вот директор был странный: совсем иной породы.

Трудно поверить, но, похоже, что он совсем не воровал. То ли сладкого не любил, то ли честным был от природы. Но у него никогда ничего, ни конфет, ни шоколадок, – ниоткуда не торчало.

Некоторые из наших сотрудников поговаривали, правда, что в директорскую честность ни капельки не верят. Честных людей, мол, и вообще не бывает. А тем более не может быть честным человеком тот, кто дослужился до такого солидного поста. А стало быть, ворует он, но... по-крупному. Не так, как мы, простые смертные (тут рассказчик ненадолго прервался и призадумался, видимо только здесь и сейчас впервые осознав всю горечь употребленного им классического выражения). Не коробками, а тоннами: машинами, товарными вагонами. Потому-то карманы и не топорщатся.

Но я тогда думал, что, может, он и взаправду такой особенный. А сейчас-то я уже это точно знаю: в зеркале подглядел.

В общем, не нравился нашим работникам директор. Как-то при нем несподручно было. И за производством он как-никак, а присматривал. И заму своему особо разгуляться не давал.

Поэтому зам (нам-то что? К нам-то директор лично за пазуху не заглядывал, а с замом у него смежные кабинеты были) решил от неудобного начальника избавиться. Стандартно так, по накатанному: написал телегу кой-куда, обвинил бедолагу в растратах и взяточничестве. Да и на лапу, наверняка, нужным человечкам не пожалел. И взяли нашего директора. С должности сняли и дали срок.

А я это знал заранее. Так получилось, что сидел как-то допоздна с отчетами да реестрами: надо было так сметы свести, чтобы море наворованного продукта каким-то слишком явным образом не пролилось к берегам бухгалтерии – и слышал из приоткрытой двери зама, как он там химичил (произнеся это слово и уловив в нем близкое корневое родство с обозначением любимой и так и не достигнутой специальности, рассказчик вновь чуть не разрыдался). Зам обсуждал со своими поделщиками, как состряпать липовые улики против директора, и до меня без всяких помех долетало каждое слово.

И вот тут наметился в моей жизни еще один роковой момент.

Мне, вообще-то всегда с большим трудом давался выбор, а на этот раз я от внутреннего раздора с самим собой чуть было и вообще не слег. Все думал, а ну, как предупредить директора об опасности и дать ему шанс подготовиться к защите? Или промолчать? Потому как кто знает как знать, кто же в этой истории окажется сильнее: директор или его заместитель? И если все-таки последний, то не будет ли обидно потерять выгодное местечко? Тем более, что и тетке по отцовской линии я уже обещал по коробке птичьего молока к окончанию каждой школьной четверти: ее оболтус обычно с двойки на тройку перебивался, а с птичьим молоком (в учительский стол, естественно) его успеваемость дивным образом резко возрастала.

И учитывая все эти отягчающие обстоятельства, мне было очень трудно решиться стать директорским заступником. Хотя желал, искренне желал. По крайней мере, сначала.

И все-таки промолчал.

И директора, как я уже говорил, сняли и посадили.

И зама повысили и перевели в директорский кабинет.

Но птичье молоко ничуть хуже не стало.

Хоть и ингредиенты его слегка изменились.

Конец второй истории из зеркальной комнаты

– А потом Вам, конечно же, еще что-то показали? – предположил я по опыту прошлого рассказа.

– Увы! – страждущий вновь обратился к своему первоначальному слову, – Увы! Дело в том, что я, конечно, первое время переживал из-за директора, терзался мыслями о том, где он и как он себя чувствует. Но потом оно как-то постепенно притупилось и вообще забылось. И не всплывало в память вплоть до самой смерти (моей, естественно, а не директорской).

А тут я увидел тюрьму.

И лагерь, в который его отправили по этапу.

И невзрачную и примитивную лагерную больничку, где он умирал от гангрены.

– Ноги, что ли, отморозил на лесоповале? – спросил Сартр, очень неплохо для француза разобравшийся с тонкостями типичной сибирской ситуации.

– Нет. Это была последняя стадия сахарного диабета, – ответил бывший обитатель будки. – Ирония судьбы заключалась в том, что ему в его состоянии остро требовался инсулин и временами... сладкое. Но бывшему директору кондитерской фабрики в лагере никто не давал шоколада, который мог бы спасти ему жизнь.

– Он не дождался амнистии? – спросил я.

– Нет, скончался на втором году заключения. И оставил после себя вдову и двоих детей, которых арест отца застал в самый разгар учебы в институтах. Институты эти они, по вполне понятным соображениям, так и не смогли закончить.

– А закончили бы, могли и фармацевтами стать. И изобрести чудодейственное лекарство от сахарного диабета, – съязвил я.

– Да, это замкнутый круг! – чуть не взвыл рассказчик. – И каждый шаг каждого из нас оборачивается множеством повторяющихся бликов в общем зеркале истории.

– Которое еще почему-то до сих пор не разбилось, – продолжил я все в том же ироничном тоне. И тут же поймал себя на том, что внезапно холодею от острой и соблазнительной в своем кощунстве мысли: а вот войду-ка я в зеркальную комнату, и разобью там эту шпионскую стекляшку на фиг!

Я тут же бросил беглый взгляд на проводника: не догадался ли он, не заметил ли чего в выражении моего лица? Но нет, Жан Поль казался безмятежным и смотрел лишь на нашего собеседника, который явным образом выражал желание продолжать.

Третья история из зеркальной комнаты

Упомянутыми детьми бывшего директора кондитерской фабрики были мальчик и девочка. Вот на этой девочке я чуть было и не женился.

Мы познакомились на какой-то вечеринке, которая устраивалась для работников фабрики и их семей в честь одного из основных с точки зрения господствующей в нашем государстве идеологии праздников.

Столы фабричного актового зала, как и предполагалось, ломились от сладостей, и я как раз рассуждал, что было бы, если бы я работал в икорном бизнесе и следил не за качеством помадки, а за нерестом лососей, когда она возникла в дверном проходе, бросила беглый взгляд на гостей и убранство и направилась прямо ко мне.

Потом она объяснила, что было привлечена вовсе не моей физиономией, а фактом отсутствия за моим столом тех, которых она больше всего терпеть не могла. Но так или иначе, а мне повезло в тот вечер развлекать эту барышню (сначала я не знал, что она директорская дочка), и мы два часа наслаждались

беседой. Причем, солировала по большей части она. Оказавшись умелой пародисткой, она незаметно для своих жертв изображала для меня жесты, мимику и даже характерные фразы того или иного из гостей. А я улыбался и ел конфеты (представленные в большом количестве) и бутерброды (в количестве более или менее пристойном).

Когда ее отца арестовали, она сразу прибежала ко мне и, стуча мне в грудь маленькими, но крепкими кулачками, требовала признать, что папа невиновен. И что его отпустят. Оправдают и отпустят. Очень быстро отпустят. Ведь, прямо, сегодня, ну, в крайнем случае, завтра? Ведь так? Ведь так?

Еще она кричала, что мы обязаны написать петицию в его защиту. Чтобы я ее написал. Прямо сейчас. Взял и написал. И первым подписал. У меня дома ведь есть бумага? Ведь так? Ведь так?

А она тогда будет мне всю жизнь благодарна. И подарит мне свою любовь. Ее любовь, правда, и без того уже моя. Но если раньше в этом еще можно было усомниться, то теперь это уже точно так будет. Вне всякого сомнения. И мы поженимся очень быстро. Ну, сегодня уже нельзя, все закрыто. Но завтра можно подать заявление. Можно ведь завтра? Ведь так? Ведь так?

Я успокаивал ее, как мог. Гладил по голове. Шептал, что все образуется. Но что торопиться не надо. Надо все обмозговать. Взвесить. Чтобы помочь папе, а не навредить. Потому что петиция – это вещь такая, неоднозначная. Как бы не испортить дело. И самим не схлопотать.

А насчет свадьбы, тоже непонятно, к чему нам спешка. Тем более, без папиного благословения как-то и некрасиво. А благословение-то сейчас как получишь, папа-то в тюрьме? А вот вернется папа, тогда и...

Она слушала меня и потихоньку переставала задавать вопросы, требовать ответов и повторять свое бесконечно «ведь так?», как будто именно от меня как от какого-нибудь оракула зависело воплощение желаемого ею будущего.

А потом она оторвалась от моей груди, молча надела свое пальтишко и ушла.

Больше я ее никогда не видел.

Конец третьей истории из зеркальной комнаты

– Нет, видел. В этом зеркале, – тут же поправился рассказчик. – Но, опять-таки, уже ничего нельзя изменить.

– А с ней что стало? – живо заинтересовался я, осознавая, что романтические струны моей души (а, кстати, любопытно, я-то тут в аду в каком качестве: как душа отдельно или все-таки в совокупности с телом? Надо потом не забыть – разобраться), пожалуй, самые тонкие.

– Она вышла замуж за шофера, – мрачно отвечивал ее бывший жених. – Родила ему троих. А потом похоронила. Потому как ехал в не весьма трезвом виде и врезался в афишную тумбу. Бетонную. Дети, в основном, в папу пошли. Правда, мальчишки шоферят, а девчонка все же стремится к культуре. В балет подалась. Танцует в массовке. Тоненькая такая. На маму в молодости похожа.

– Это все Вы тоже в зеркале увидели? – спросил я.

– В нем в самом.

– Но это все звучит не так уж и плохо.

– Да, так, вроде, ничего себе.

– Тогда почему Вы так расстроились?

– Потому что я в зеркале еще и свою жену увидел. До и после.

- Простите, до и после чего?
- Смерти., – сказал он и уточнил, – Ммоей.
- И что?

– А то, что жуткая она – вот что. Аж, с души воротит.

И я не стал вдаваться в подробности. Потому как если страждущую душу с души воротит, что тут еще скажешь?

Мы еще некоторое время посидели молча, а потом освободившийся из будки резко поднялся на ноги и стал прощаться:

- Что-то замешкался я тут с вами. Лучше побреду.
- Куда глаза глядят? – на всякий случай осведомился я.
- А куда же еще? – ответил он вопросом на вопрос.

А потом развернулся и медленно побрел.

– И я пойду, – решительно заявил я Сартру.

– Внутрь, что ли? – не удивился тот.

– Да. Где потом встретимся?

– Я здесь подожду.

– Ну, или это я Вас там подожду. – уточнил я. – Потому как, чье время быстрее окажется – это еще большой вопрос.

Жан Поль улыбнулся с видом заговорщика и пошел за доской.

– И меня запрут, – подумал я, без всякого впрочем, испуга. И снова шевельнулось во мне дерзкое и сочное:

– Ох, разобью.

Сартр с вежливой готовностью распахнул передо мною дверь.

И я вошел.

7

«ВХОДЯЩИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНЬЯ!»

*Я, прочитав над входом, в вышине,
Такие знаки сумрачного цвета,
Сказал: «Учитель, смысл их страшен мне».*

*Он, прозорливый, отвечал на это:
«Здесь нужно, чтоб душа была тверда;
Здесь страх не должен подавать совета...»*

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

Сначала было просто темно. Так темно, что мне пришлось пробираться к середине комнаты, широко расставив перед собой руки, чтобы не натолкнуться на какой-нибудь неожиданный предмет. Впрочем, эта предосторожность была излишней, ибо никаких предметов в комнате не оказалось, если не считать довольно низкий крепкий стул, на который я и уселся за неимением ничего другого.

Стул скрипнул подо мной (интересно, кстати, под душами умерших он тоже скрипит?), и, вероятно, этот звук спровоцировал последующее: почти моментально раздался детский плач.

Я напряженно вглядывался в темноту, пытаюсь обнаружить источник звука, и вскоре мои уже чуть-чуть натренированные глаза, действительно, узрели в глубине комнаты маленькую деревянную кроватку, в которой, по-видимому, и находился, проснувшийся младенец.

– У-ааааааааа! – надрывался он все сильнее и сильнее, и этот жалостливый нарастающий звук заставил меня нервно заерзать на своем только что обретенном сидении.

– У-ааааааааа! У-ааааааааа! – я не знал, каковы правила игры и есть ли у меня право вмешиваться в жизнь (или смерть?) адских младенцев (Г-споди, словосочетание-то какое жуткое получилось!) и потому колебался.

И откуда тут вообще мог взяться младенец? Разве же душам младенцев здесь место? Разве же не уготованы им райские кущи?

Впрочем, откуда я это взял? Из какого-нибудь слащавого телешоу «По душам о душе»? Из книги? Из народной (какого народа?) мудрости?

И что вообще они там (кто это – «они», и почему я вынес себя из этого множества?) понимают об аде?

– У-ааааааааа! – очередной взвизг окончательно прервал мои размышления и сорвал меня с места. Я просто обязан был подойти к малышу, взять его на руки и укачать. И хотя у меня совершенно не было еще подобного опыта, почему-то укачивание чужого младенца меня не устрасило.

Я решительно направился к кроватке. Ребенок подбадривал меня своим соло с явной тенденцией к крещендо.

Как я уже сказал, кроватка стояла в самой глубине комнаты и до нее требовались какие-нибудь семь шагов. Я их делал с осторожностью и все-таки не уберегся: уже в самом конце нехитрого пути уперся (хорошо хоть не со всей силы, а то лицу бы не поздоровилось) в холодную гладкую перегородку, не пускавшую меня к страждущему младенцу.

– У-ааааааааа! У-ааааааааа! – кричал он, а я был скован в своих действиях этой внезапно вставшей на пути подлой прозрачной стеной.

Стоп! Почему внезапно вставшей? Да она тут всегда была. И не прозрачная она вовсе. Потому что это она – оно и есть. Зеркало!

Стало быть, и ребенок не настоящий. Это иллюзия – картинка из моей жизни. И надо просто вернуться на прежнее место, сесть на стул и спокойно наблюдать за происходящим.

Спокойно, потому что вовсе никто не нуждается в помощи.

– У-ааааааааа! – раздалось снова, назло всем моим рассуждениям. Но я уже был тертый калач. (Интересно, кстати, что за бредовое выражение? Зачем калачи вообще трут? И почему именно качество трения добавляет калачу необходимое достоинство? Чушь! Не думать об этом! Вернуться к стулу и успокоиться!)

– У-ааааааааа! У-ааааааааа!

И что это за ребенок – вот что любопытно? Что-то не узнаю я его, а ведь зеркало должно отображать только события, связанные с моею жизнью.

Я так и не сдвинулся с места и стал напряженно припоминать всех младенцев, с которыми на протяжении последних почти сорока (ибо столько мне и есть) лет меня стлкивала судьба.

Младенцев почти не насчитывалось, хоть память у меня (как я уже говорил) отменная.

Приплыл из прошлого какой-то младенец в синей коляске из маленького парка рядом с домом моего детства. Но он не плакал, а все больше мирно спал (говорят, на воздухе они хорошо спят), да и потом, вообще не имел ко мне никакого отношения, кроме того, что, по всей видимости, был соседским.

Был еще младенец из маминой родни. Но его я видел только на фотографии, однажды извлеченной мамой из плотного конверта, пришедшего с юга от какой-то из незнакомых мне, хоть и близких по крови теток.

А может... тут меня даже пот холодный прошиб (однако, и в аду потеют!)... Может... это мой ребенок? Ребенок, порожденный случайно, и ненамеренно? Моя плоть от плоти, о существовании которой я бы и не узнал, не будь этого зеркала? И показывают мне его специально, чтобы осознал, устыдился, ужаснулся... Или отыскал, облобызал, дал свою фамилию и начал воспитывать?

Мысли мешались в моей голове, чему особо способствовали непрекращающиеся «у-ааааааааа», за которыми я чутко следил, пытаюсь понять, как они звучат: по-родственному или не особо.

И тут послышались тихие шаги. Скрипнула дверь (не от будки, а та, что в зеркале), загорелся ночничок и женщина в длинной ночной рубашке и в шали на голых плечах вошла в зеркальную комнату (не в мою, а в младенческую – не в ту, которая с зеркалом, а в ту, которая внутри него).

Она подошла к кровати, извлекла оттуда орудий и стучащий ножками комок с легким всклокоченным пухом на голове и прижала к своему теплomu, сладко пахнущему со сна (этого я, конечно, не чувствовал, а почему-то представил себе) телу.

Ребенок тут же утихомирился, и был очень благодарен за это женщине, которая, наконец-то, пришла на подмогу своему дитяти и моим ушам.

Лица ее пока что не было видно, но я ждал, что рано или поздно оно переместится и я смогу разглядеть его в свете ночника.

Женщина, между тем, уселась в кресло по ту сторону зеркала и обнажила привлекательную и, по всей видимости, питательную грудь.

Ребенок сладко зачмокал, а она слегка покачивалась в кресле и, по всей видимости, разбуженная, но не до конца проснувшаяся, витала в каких-то своих тихих грезах.

Меня что-то смущало. И даже не то, что я оказался невольным зрителем сцены грудного кормления. И даже не вопрос, зачем мне все это показывают. А что-то странное и неуловимое. Что-то трогательное и важное, чему у меня не было объяснения.

Кормление продолжалось долго. Сначала из одной груди, потом из другой. И еще с перерывами на похлопывание младенца по спинке с финальным срыгиванием.

Наконец, все закончилось. Но чуть только женщина пыталась избавиться от своей драгоценной ноши и переложить отпрыска обратно в колыбель, как он, казалось уже спящий, тут же открыл рот и издал первое (в этой серии) слабое «у-ааааааааа».

Женщина тут же вернула капризника в свои объятия и принялась расхаживать по своей, отделенной от меня прихотью зеркала комнате. Туда-сюда, туда-сюда.

И вот, в какой-то момент на ее лицо упал свет и я увидел... Нет, этого просто не может быть! Неужели! Но да, нет сомнения... это была моя собственная мать.

А младенец, значит... да кто же еще, у меня ведь нет братьев и сестер... Да, это со всею очевидностью был я сам.

– Ну и характер, – подумал я не без отвращения. – Никогда бы не подумал, что способен так орать.

Но сейчас он... я... нет, все-таки буду называть его «он». Итак, сейчас он молчал. И блаженствовал на мамином плече. А она ходила по комнате, которая тоже, чем больше я всматривался, становилась все более и более узнаваемой.

Вот занавески, которые так пугали меня в детстве, когда в них запутывались уличные тени.

Вот кресло-качалка, в которой кормила меня мама, а потом, со временем, в которой так полюбил качаться я сам.

Вот книжная полка, на которой уже сейчас красовалась с любовью сделанная подборка ярких будущих моих любимых книжек.

Вот махровый заяц со стеклянными глазами. Причем, оба глаза целы. Ну, конечно! Я ведь еще не успел вырвать один из них.

Вот фотография на стене, а на ней речка, и маленький домик за редким забором, и гуси на траве чуть поодаль, а на переднем плане у забора какие-то люди, незнакомые мне, но очень интересные: несколько мужчин в картузах и несколько женщин в платках. И какие-то из них пара: мои пра-пра... В общем, не важно, сколько «пра». Главное, что дед и бабка.

Вот мама пронесит меня (его) рядом с этой фотографией, и я (он, нет, пусть уже все-таки буду я) приоткрываю один глаз и сквозь сон гляжу на речку, и на людей, и на маленький домик. Гляжу, пока он не пронесется мимо, скрытый маминым плечом. А потом опять гляжу. А потом еще несколько раз, пока сон окончательно меня не сморит.

А когда сон сморил (его? или меня?) младенца, мама осторожно переложила его в кроватку и ушла, так и не потушив ночник.

В его свете комната была как настоящая. И я все смотрел на нее. И больше всего на фотографию на стене. Потому что я прекрасно помню, что когда чуть-чуть уже подросток, да и потом еще в течение многих лет я очень любил смотреть на нее.

Смотрел, бывало, не отрываясь, как замороженный. И все гадал, кто же из этих людей мои пра-пра. И им ли принадлежал маленький домик. И как они там жили: счастливо или не очень, с в достатке достатке или в бедности. И что теперь с этим домиком. И где он стоит, если, конечно, еще стоит.

Очень уж он мне нравился. Очень уж манил к себе с самого детства. И, наверное, именно благодаря этой невероятной тяге к маленькому домику, я и выбрал себе род занятий и стал тем, кем стал. Человеком с портфелем, в котором...

Тут я опять заволновался по поводу своего портфеля, в котором столько важных бумаг. Где он? Смогу ли я получить его обратно? И если да, то когда? И если нет, то как же быть? Как же быть, это, конечно, в том только случае, если я вообще выберусь отсюда.

Впрочем, долго волноваться о портфеле мне не пришлось, потому что в зеркальной комнате (не в моей, а в той, что внутри зеркала) начали происходить изменения: она вдруг стала

как-то съеживаться и скукоживаться. Все предметы в ней уменьшились до размера игрушечных. И только фотография с маленьким домиком, наоборот, разрасталась. Так что уже и люди на ней стали обычного человеческого роста и домик уже показался мне не таким уж и маленьким.

Я с интересом наблюдал за происходящей в зеркале метаморфозой, пока фотография совершенно не перестала быть фотографией, а стала, скорее, уже кадром из фильма, который – хлоп – и ожил, запущенный специально для меня каким-то невидимым, но щедрым по отношению к моему разыгравшемуся не на шутку любопытству оператором.

– Ну, вот и все! Можете шевелиться, – послышался голос, по всей видимости, фотографа, который до этого, опять же, по всей видимости, велел позирующим замереть.

Позирующие тут же и зашевелились. И тут же подошли к фотографу, которого на снимке в моей детской, конечно, не было видно, но сейчас стало вполне видно. И слышно тоже. Фотограф как раз вылезал из-под черной накидки на своем допотопном агрегате. И физиономия у него была чрезвычайно довольная.

– А когда будут снимки? – спросила какая-то самая любопытная из женщин.

– В следующий раз аккуратно привезу, – отвечивал фотограф со всею серьезностью.

– Так еще сколько жда-а-ать! – протянула нараспев и грустно самая любопытная из женщин.

– Ничего не попишешь, – отреагировал фотограф. – Проявлять снимки буду в городе. И в следующий раз аккуратно привезу.

Дальше последовали трогательные прощания, люди, – кто в одиночку, кто вдвоем, кто попарно – разбрелись в разные стороны, и у забора остались двое: мужчина и женщина. Она нежно прильнула к нему, глядя в даль вслед уходящим. Он приобнял ее за талию. И периодически они оба поднимали руки и махали тем, кто, вероятно, оборачивался, чтобы тоже помахать им.

Потом, когда все махающие окончательно исчезли из виду, мужчина подхватил женщину на руки и, кружа ее и при этом заливисто смеясь, пошел к дому.

– Отпусти, черт! – кричала она, пытаясь отбиваться. Он – ни в какую!

Она сорвала с него картуз и растрепала волосы. Он – в отместку – стащил с нее платок, откуда вывалились две тяжелые косы.

А потом они скрылись в доме, куда я, по воле зеркала, последовал за ними.

Он все еще нес ее на руках и целовал в губы, и в щеки, и в шею. А она, когда они были в сенях, изогнулась, зачерпнула в ладони воду из большого ведра, стоящего у стенки, и брызгала ему в лицо.

Он встряхивал шею, заслонялся от брызг. И оба смеялись, и смеялись, и смеялись. Так безудержно и смачно, как умеют только любимые и любящие, и щедрые своей любовью, и отгородившиеся ею от всего остального мира как щитом.

Я же, невольный свидетель их пьяного счастья, вновь недоумевал: зачем мне это показывают и что мне делать со всем, увиденным в зеркале.

Мужчина, между тем, словно почувствовал мой взгляд (это, конечно, мне только показалось, ибо на самом деле было невозможным, особенно если учесть, что я наблюдал за сценой более чем столетней давности) и повернулся в мою сторону. Я даже мог бы сказать, что мы встретились взглядами, если бы не был уверен в том, что на самом деле он меня не видит.

И все-таки его лицо меня поразило. Не какой-то особой красотой или соразмерностью черт. Не выражением бесшабашного задора, которому мог бы позавидовать любой из современников (моих, а не его, а еще вернее, моих из той реальной жизни, от которой я, вероятно, сейчас был не менее далек, чем он).

Нет, не этим. А тем, что его лицо было... моим.

И если бы я с некоторого времени (времени моего первоначального взросления) не оставил привычку вглядываться в фотографию на стене, то, наверное, я и сам, даже по старинному нечеткому снимку, смог бы обнаружить это сходство. И его не скрыл бы от меня ни прищур моего предка, потревоженного вспышкой, ни низкий козырек картуза, заслоняющий высокий лоб.

Но, увы, к тому времени, когда я вступил в лета, в которых мое сходство с предком стало таким поразительным, я уже перестал интересоваться фото со стены. Поэтому я ничего не заметил. Да, впрочем, если бы и заметил, не думаю, что это потрясло бы меня так сильно, как увиденное в зеркале.

Потому что тот человек был сейчас таким живым (Г-споди, что это я говорю? Я же в аду!). Он был таким реальным, зримым, могучим, влекущим своей молодостью и силой своего чувства, что мне хотелось подать ему руку, побрататься с ним (с прадедушкой, значит), обнять его по-дружески и от всей души (души, пока еще одетой в тело, в отличие от его, явно раздетой).

И вместе с тем я завидовал ему. И ревновал его к своей прабабке, такой еще тоже цветущей и очаровательной. И ревновал к той полноте жизни, которую они оба, по всей видимости, ощущали и от которой мне тоже очень захотелось испытать. Зачерпнуть в ладони, как прабабка из ведра, и наглотаться всласть.

Но я, все еще стоящий вплотную к зеркалу и от всех этих впечатлений совершенно позабывший об отступлении к стулу, только гладил руками холодную зеркальную поверхность, но не мог нарушить ограничений, протянуть руку сквозь запретную грань и коснуться моих давно умерших предков, кажущихся мне в данный момент гораздо более живыми, чем я сам.

– Как вас зовут? – пытался докричаться я до них сквозь зеркало. – Как вас звали? Когда вы родились? Когда скончались? Где ваши могилы?

Понятно, что я не мог рассчитывать на то, чтобы получить ответ.

Впрочем, на последний вопрос, у меня был свой собственный вариант ответа:

– Могилы-то я найду. Ведь могилы – это моя профессия.

И только я мысленно это произнес, как видение из зеркала исчезло, как будто и не бывало. Впрочем, зеркальная поверхность оставалась темной лишь мгновение, а затем тут же услужливо выстроила мне другую картину, на этот раз гораздо более узнаваемую.

Моим глазам предстала моя собственная квартира. Вся, во всей красе. Во всех своих не очень, мягко скажем, впечатляющих габаритах. Но зато во всем комфорте, который я люблю и который отличает каждый сантиметр моего холостяцкого жилища.

Вот передо мной прихожая, залитая мягким светом встроенных в подвесной потолок лампочек (я сам их заказал).

Вот кухня в ее никелированном блеске. Там у меня все в стиле техно. Повсюду металл. Металлический электрочайник со свистком на отдраенной до сверкания плите. Металл и стекло в оформлении посудомоечной машины, встроенной духовки, микроволновой печи. И холодильник цвета металлик. И большие магниты с наточенными ножами всех размеров, форм и предназначений на антрацитовом кафеле.

Вот гостиная. Суперская. Я выбирал для нее каждый предмет самолично. Диван из черной кожи, низкий и закругленный, безо всякого намека на углы. На нем кожаные подушки цвета слоновой кости. Рядом торшер, до кнопок которого легко дотянуться рукой, не вставая с места. Тут же маленький стеклянный столик с пультом от телевизора, со свежими журналами, с парой-тройкой книг, с папкой по делу, которое я взял прямо перед исчезновением (если, конечно, я вообще ОТТУДА исчезал, ведь, можно предположить и обратное: я продолжаю быть ТАМ, или ТАМ и ТУТ одновременно).

И словно в подтверждение моих беспокойных мыслей по этому поводу зеркало плавно перемещает меня в кабинет (он же во второй своей половине – спальня), где в постели на доб-

ротной кровати из серого дерева (вблизи видно, что оно в мелкую черную полоску, даровавшую моему спальному гарнитуру своеобразное название «Зебра») сплю... я.

Рядом будильник, и мне прекрасно видно, который час: до моего стандартного пробуждения остались 4 минуты.

Я сплю в кровати. Безмятежно. Так, как я люблю: одна рука, согнутая в локте, упрятана под подушку, другая – слегка свисает над ковром.

Я слежу за собой спящим через стекло.

Я в постели слегка вытягиваю ногу.

Я из-за стекла слежу за движением своей ноги в постели.

Я не подозреваю, что будильник вот-вот сработает.

Я слежу за лихорадочно меняющимися цифрами будильника, ведущего отчет о каждом часе, минуте и секунде.

Я пробуждаюсь от резкого звона. Но не сразу: требуется некоторое время, пока позывные проникнут в сознание, пока что замкнутое в пространстве сна.

Я моментально и стойко воспринимаю звонок, тем более, что мои глаза уже предупредили меня о том, что он неминуем, и я встречаю его в полной готовности.

Я ТАМ.

Я ТУТ.

Я – ОН.

ОН – Я.

Я ТАМ встаю с кровати и в одних трусах иду в смежную комнату (то, что принято называть совмещенным санузлом).

Я ТУТ покорно жду, пока я ТАМ закончу все необходимые процедуры, и знаю, что придется ждать довольно долго.

Я ТАМ возвращаюсь в спальню (она же во второй своей половине – кабинет), искупавшийся, свежесбрившийся, благоухающий сразу целым букетом ароматов от: зубной пасты, жидкого мыла, шампуня, дезодоранта и лосьона после бритья.

Я ТУТ, конечно же, не чувствую, как я ТАМ благоухаю. Но я точно знаю, насколько и чем.

День (ТАМ) начался, и я (ТАМ и ТУТ) продолжаю играть в игру. В двойную игру своей настоящей и ненастоящей (вот только бы понять, где какая) жизни.

Я упираюсь лбом в прозрачное стекло и смешиваюсь сам с собой. И теряюсь в себе. И постепенно перестаю понимать, кто на кого откуда смотрит.

И еще, наблюдая за этим странным мной, который варит кофе, жует бутерброд, глядит на часы: то наручные, то настольные, затягивает галстук, ставит чашку в посудомоечную машину, надевает пиджак, берет портфель (да куда же он, наконец, запропастился?), достает связку ключей от квартиры и машины и захлопывает дверь, я ТУТ вдруг ощущаю резкий приступ одиночества и жалость к себе ТАМ.

И еще я вспоминаю звонкий шлепающий звук, с которым моя прабабка погрузила белые ладони в колодезную воду в ведре, и как при этом ее косы коснулись деревянного выкрашенного в коричневый цвет пола и двумя змейками проползли по нему, пока прапрадед сделал свои несколько шагов. И мне захотелось туда, к ним.

И тусклый в дневном свете торшер, который я ТАМ забыл погасить, показался мне насмешкой надо мною ТАМ и ТУТ, который почему-то оказался не в том месте. А какое из них: ТАМ или ТУТ, или они оба – не то, не знаю.

Мне еще некоторое время показывали мою пустую квартиру, а потом и она растворилась в недрах коварного зеркала.

Растворилась без следа. И на место растворенного ничего больше не пришло. Разве что на пару секунд мне померещился полузакрытый глаз, обрамленный ресницами, а под ним, пожалуй, еще и ноздря. Всего на несколько секунд. И все. И я так и остался стоять в недоумении.

А где же обещанные последствия всех последствий всех продолжений всех моих начинаний?

А где страшный стыд и боль за прегрешения?

Где адская мука, я вас спрашиваю?

И что это вообще за ад такой?

Чувствуя, что на душе у меня накопело и что мне необходимо излить все накопившиеся вопросы кому-нибудь, я вспомнил о своем проводнике.

– Пойду к Жан-Полю, – всполошился я и направился к выходу.

Я был, естественно, заперт, но не боялся, ибо точно знал что делать: постучать.

И на мой стук возник моментальный отклик снаружи.

Было слышно, как тяжелый засов со скрежетом покидает свои тиски и с легким стуком прислоняется к будочной стене (я в очередной раз отмечаю, что природа вокруг безмолвна, но действия, производимые душами, звучны). Сейчас дверь откроется, и я увижу Сартра.

А вот и...

Сартра снаружи не оказалось. Там меня ждал кто-то другой.

8

*«Что за рок тебя подвиг
Спуститься раньше смерти в царство это?
И кто, скажи мне, этот проводник?»*

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

Передо мной предстал бледный худой человек с длинным лицом и острым носом. Лицо обрамляли черные волосы, выстриженные каре.

Человек был узнаваемым, ибо его портрет (а портрет-то привирал, в жизни он не такой приглаженный, – подумал я и сразу же поправил себя: в смерти он не такой приглаженный, а какой он был в жизни, знать не могу, потому и не буду голословно осуждать автора портрета) красовался над самой доской в кабинете литературы в той школе, где я когда-то имел несчастье учиться.

Уроки у нас, по большей части, были скучные, а потому портрету не повезло, ибо изнемогающие под ношей ямбов, хореев и прочих классических красот, исторгаемых гортанью нашей чуть гнусавой педагогини, мальчишки любили изжевать кусочек промокашки, заправить ее в опустошенную трубку от шариковой ручки и плевать им в цель. А о лучшей цели, чем портрет над самой доской нельзя было и мечтать.

А потому лицо увековеченного портретистом было сплошь усеяно комочками жеваной бумаги, что придавало ему вид существа то ли излишне бородавчатого, то ли переболевшего оспой в самой безжалостной форме.

И все же, несмотря на то, что я привык к нему то ли в бородавках, то ли в оспинах, я его сразу узнал и не в силах сдерживаться, хоть это и прозвучало как-то не особо вежливо, радостно приветствовал его по фамилии:

– Гоголь!

– Рад познакомиться! – ничуть не смутившись, сердечно откликнулся он и раскланялся.

– Николай Васильевич, – продолжил я, как по учебнику, все еще приглядываясь к новому знакомцу: а настоящий ли он.

Тот невозмутимо позволил себя разглядывать.

– Ну, и везет же мне на писателей! – воскликнул я, окончательно поверив собственным глазам.

Русский классик развел руками, в знак то ли сожаления, то ли одобрения по поводу моего удивительного везения.

– Где Сартр? – спросил я, переходя сразу к сугубо деловой части нашего предполагаемого общения.

– Временно отлучился. Я вместо него.

– Временно, – это по какому времени? – уточнил я.

– По его личному, естественно, – уточнил Гоголь.

– Вы тоже проводник?

– Проводник.

– А что Вы вообще делаете в аду?

– Как что? – удивился Гоголь. – Терзаюсь муками.

– По какому поводу?

– Из-за того, что не ту книгу написал.

– Про ад?

– Про ад.

А что Вы вообще делаете в аду?

– Как что? – удивился Гоголь. – Терзаюсь муками.

– По какому поводу?

– Из-за того, что не ту книгу написал.

– Про ад?

– Про ад.

– Я не то чтобы на все сто процентов знаком с Вашим творчеством, но все же: Вы какое именно произведение имеете в виду?

– «Мертвые души».

– А, это то, что товаровед цитировал., – проникся я внезапным пониманием. – Но разве же это про ад?

– Конечно про ад. Про что же еще?

– И что же Вы бы написали вместо этого, если бы имели такую возможность?

– «Души мертвых», – незамедлительно ответил Николай Васильевич.

– О, я полагаю, что это было бы нечто в совсем ином жанре.

– Пожалуй, хотя и вытекает из предыдущей темы. Видите ли, мои «Мертвые души» оказались довольно многогранным произведением. И довольно прилипчивым. Это в свое время побудило меня начать писать продолжение. Я планировал еще 2-й и 3-й тома. 2-й том, правда, я впоследствии самолично уничтожил и спустя десять дней умер. К 3-му, соответственно, даже и не приступил, хотя и осмыслил его приблизительную идею.

– И что же это была за идея? – полюбопытствовал я, проникаясь сожалением о былом пренебрежении литературой.

– Я хотел повторить творческий подвиг Данте. Не случайно же я назвал свои «Мертвые души» поэмой, к чему может придраться любой мало-мальски смыслящий в жанровых различиях критик, который со спокойной совестью должен был бы обозначить мое произведение повестью или романом. Напиши я все тома, так даже эпопеей. Но определение «поэма» как-то не вяжется с моим текстом, если только не воспринимать его как намек, что, собственно говоря, и было задумано. Намек на 3-частную поэму Данте Алигьери.

Великий итальянец посвятил свою трилогию трем... Г-споди, как же их назвать-то? Отсеками, что ли... Трех отдельным замкнутым в себе территориям загробного мира: аду, чистилицу и раю.

Так и я. 1-й том «Мертвых душ» – это ад. Дальше, уже, надеюсь, Вам и самому понятно.

– Понятно, – живо отозвался я. – Только непонятно, что Вы все-таки имеете в виду? У Вас там, вроде, не ад в 1-м томе (насколько я помню из программы), а помещицья Россия 1-й половины 19-го века.

Сказал и сам себе удивился. Прямо от зубов отскочило. И прямо в той формулировке, что я некогда зазубривал к экзамену. Но я же, впрочем, уже в самом начале упоминал про свою особенную память. Так что, стало быть, и нечего, на самом деле, удивляться.

И я тут же перестал удивляться, а начал прислушиваться к ответу Гоголя. Тот, в свою очередь, приступил к еще более пространному объяснению.

Ад может быть обнаружен где угодно. И мои герои – настоящие пленники ада, разъедающего их души (пусть и трепещущие в еще живых телах). Вы посмотрите на мой паноптикум. Там же урод на уроде сидит и уродом погоняет.

– Э, да это Вы, кажется, самого себя цитируете, – возник я, положившись на еще одну внезапно всплывшую подсказку памяти.

– Одного из моих героев, – поправил меня Николай Васильевич. – Впрочем, там, если быть точными, речь шла о мошенниках. Но я, с Вашего позволения, продолжу.

Я утвердительно наклонил голову и он продолжил:

– Во 2-м томе с уродами должна была начаться метаморфоза, оживляющая окостеневшие души. Это – фаза чистилища. Ну, и 3-й том – рай, когда герои превращаются в праведников.

– А я думал, что мертвые души – это те бывшие крепостные, которых Чичиков скупал для своих меркантильных целей.

– Это только на поверхности так. А на самом деле, если приглядитесь, это фальшивая приманка для цензоров. Мертвые – это те, что у меня в повествовании еще формально живы, а те, что формально мертвы, наделены определенной живостью. И не только в глазах моего Собакевича, который пытается за них содрать в три дорога, расхваливая их былые качества.

Тут Николай Васильевич слегка сменил интонацию и безо всякого напряжения или хотя бы минимального необходимого сопроводительного воспоминания морщениия лба без запинки завел слегка нараспев:

«– Итак?.. – сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа.

– Вам нужно мертвых душ? – спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

– Да, – отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши, – несуществующих.

– Найдутся, почему не быть... – сказал Собакевич.

– А если найдутся, то вам, без сомнения... будет приятно от них избавиться?

– Извольте, я готов продать, – сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупатель, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.

«Черт возьми, – подумал Чичиков про себя, – этот уж продает прежде, чем я заикнулся!» – и проговорил вслух:

– А, например, как же цена?.. хотя, впрочем, это такой предмет... что о цене даже странно...

– Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту рублей за штуку! – сказал Собакевич.

– По сту! – вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись,брякнул вместо одного другое слово.

– Что ж, разве это для вас дорого? – произнес Собакевич и потом прибавил: – А какая бы, однако ж, ваша цена?

– Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю с своей стороны, положя руку на сердце: по восьми гривен за душу, это самая красная цена!

– Эж куда хватили – по восьми гривенок!

– Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя.

– Ведь я продаю не лапти.

– Однако ж согласитесь сами: ведь это тоже и не люди.

– Так вы думаете, същете такого дурака, который бы вам продал по двугривенному ревизскую душу?

– Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь души-то самые давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по полтора рубля, извольте, дам, а больше не могу.

– Стыдно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!

– Не могу, Михаил Семенович, поверьте моей совести, не могу: чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать, – говорил Чичиков, однако ж по полтинке еще прибавил.

– Да чего вы скупитесь? – сказал Собакевич. – Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души, а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! Ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то как бывает московская работа, что на один час, – прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

Чичиков открыл рот, с тем чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова.

– А Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если вы где същете такого мужика. Ведь что за силища была! Служил он в гвардии, ему бы Б-г знает что дали, трех аршин с вершком ростом!

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но Собакевича, как видно, пронесло: полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

– Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.

– Но позвольте, – сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было, – зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это всё народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.

– Да, конечно, мертвые, – сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: – Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди.

– Да всё же они существуют, а это ведь мечта.

– Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не същете: машинища такая, что в эту комнату не войдет; нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!»

При последнем восклицании Гоголь погрозил то ли мне, то ли другому, невидимому мною слушателю, пальцем и внезапно остановился.

– Ощущаете? – спросил он меня. – Да эти мои покойные Милушкины и Михеевы живее живых Собакевичей и Маниловых. И уж тем более Плюшкиных.

– Так вот же, Вам и самому книга Ваша нравится. Что же Вы терзаетесь, что не так написали?

– Потому что не так. Не донес читателю всей замысленной мною сути. Недоделал. Недописал. А недописал, потому что не так начал. Потому и уничтожил почти всю рукопись 2-го тома. Хотел попробовать заново. По-другому. По-настоящему. Чтобы и ад, и рай, и чистилище живее заиграли, взаправду. И... не успел.

– Что Вы себя казните? – возмутился я. – Вы же тогда-то не знали, как оно по-настоящему!

Но моя попытка утешить печального классика особым успехом не увенчалась из-за неточности аргумента, который Николай Васильевич тут же безжалостно опровергнул:

– Знал!

– Откуда же? – удивился я.

– А Вы никогда не слышали, что я страдал ужасной фобией? Боялся, что меня похоронят заживо?

– Нет, – ответил я, и это была чистая правда: я никогда ни о чем подобном не слышал. – А, почему, собственно говоря, Вы этого боялись? Ну, я имею в виду, что это довольно-таки необычная для человека боязнь.

– Потому что в последний период моей жизни я был подвержен летаргии.

– Это когда долго спят и не могут проснуться?

– Да. И при этом выглядят совсем как мертвые, ибо жизненные процессы максимально заторможены, дыхание слабое – в общем, профан от медицины (не говоря уже об обывателях)

запросто может принять это за смерть. Что, кстати, неоднократно и происходило в истории. Поэтому я в своем завещании, предварив это традиционным «находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка», так и написал:

«Завещаю тела моего не погребать по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я завещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности».

– Вот оно как! – начал осмысливать я. – И что же, когда Вы... ну, во время этой... летаргии своей спали, Вы что?..

– Да, – просто ответил Гоголь. – Именно так.

– Вы здесь, значит, бывали?

Гоголь кивнул.

– Как я сейчас? – осмелился я задать и этот, больше всего меня тревожащий вопрос.

– Нет, – он отрицательно покачал головой. – У Вас, кажется, что-то другое.

– Почему Вы так думаете?

– Вообще-то, я не думаю, а знаю.

– Тогда почему Вы вставили это сомнительное слово «кажется»? – заартачился я.

– Из деликатности.

– Из какой еще деликатности?

– Ну, чтобы не проявлять перед Вами однозначного превосходства: Вы, мол, не обладаете этой информацией, а я, мол, обладаю.

– Информацией о том, как я сюда попал.

– Ею самой.

– А почему бы не сделать и меня ее обладателем?

Гоголь вздохнул.

– Можете не отвечать, – тут же смилостивился я, хотя и не без горечи. – Я уже понял: это один из тех вопросов, ответы на которые надо искать самостоятельно.

– Вот-вот! – обрадовался классик. – И, поверьте, что это для Вашей же пользы.

– Верю, – ответил я.

И не солгал, потому что иного выхода у меня все равно не было.

9

*«Иные сами смерть себе несут
И своему добру; зато так больно
Себя же в среднем поясе клянут
Те, кто ваш мир отринул своевольно...»*

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

– А теперь я хотел бы получить разъяснения по поводу увиденного там, внутри, – я кивнул в сторону будки, дверь которой опять уже оказалась запертой на засов. Причем, когда Гоголь успел ее запереть, ума не приложу, ведь за все время нашего разговора я не спускал с него глаз.

– Спрашивайте, – ответил Николай Васильевич с полным выражением радушия на лице: мол, чем могу, помогу.

– Когда Вы дверь заперли?

– Я ее не запираю.

– Как не запирали. Вот же она, закрыта на засов.

– Закрыта, потому что правила такие.

– Так что же она сама закрылась ради соблюдения правил?

– Да нет, конечно, не сама.

– Тогда я совсем ничего не понимаю.

– Чего же тут не понимать-то? Это же классический силлогизм, когда третье вытекает из суммы первого и второго. А они у нас таковы: 1) Гоголь дверь не закрывал, 2) дверь закрыта. Теперь вывод: 3) дверь закрыл не Гоголь, а кто-то другой.

– И кто же этот другой? – поинтересовался я с некоторой долей издевки.

– А вот он, – ничуть не смущаясь от моей интонации, классик указал рукой в сторону странного господина, отделившегося от будочной стены нам навстречу.

Господин был строен и величав. Поверх бархатного камзола носил черную накидку, а на голове черную ккруглую шапочку, тоже из бархата.

– Прошу любить и жаловать, – Гоголь взял на себя роль посредника в нашем знакомстве, – Уриэль Акоста.

Мы пожали друг другу руки. Но, к своему стыду своему, я так и не понял, с кем совершаю рукопожатие.

– Судя по Вашему костюму, Вы... – начал я осторожно и замаялся.

– Все правильно, – подхватил он, облегчая мою задачу. – Покрой старинный. Мода конца 16 – начала 17 века. Сшит в Голландии, где я прожил последнюю часть моей жизни. Это 23 года. А первую (и обратите внимания, как причудливо ложатся цифры), то есть 32 года, я провел в Португалии. Это моя родина, исторгшая меня без всякой пощады.

– За что? – удивился я.

Он же сразу задал мне встречный вопрос:

– Вы знаете, что такое быть евреем?

– Э-э-э-э, – смутился я. – Это – очень многострадальная нация.

– В Португалии конца 16 века нельзя было быть евреем. Поэтому вся моя семья приняла ложное крещение. Ложное, потому что только на улице мы изображали из себя христиан. Дома же, наедине с самими собой, мы оставались приверженцами своей исконной религии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.